

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО

Зинаида Николаевна Гиппиус

Зеленое кольцо

Аннотация

«Квартира Ипполита Васильевича Вожжина, инженера. Большая гостиная. Налево, в глубине, дверь в коридор, прикрытая ширмами. Прямо две двери: левая в залу и кабинет Вожжина, правая – в приемную и прихожую. Последняя тоже отделена ширмами. В правой стене, вблизи, одна небольшая дверь – в комнаты друга Вожжина, Михаила Арсеньевича...»

Содержание

Действие первое	5
Действие второе	22
Действие третье	39
Действие четвертое	64
Зеленое – белое – алое	86

Зинаида Гиппиус

Зеленое кольцо

Пьеса в четырех действиях

Действующие:

Михаил Арсеньевич Ясвейн, журналист («дядя Мика», «дядя, потерявший вкус к жизни»).

Ипполит Васильевич Вожжин, инженер. Старый друг «дяди Мики», живут на одной квартире.

Елена Ивановна, жена Вожжина, с которой он давно разошелся.

Анна Дмитриевна Лебедева, вдова, приятельница Вожжина; занимает квартиру рядом.

Сережа, сын ее, гимназист.

Софина (Финочка) Вожжина, дочь Ипполита Васильевича и Елены Ивановны, живет при матери (*в Саратове*).

Руся, гимназистка, племянница Михаила Арсеньевича («дяди Мики»).

Нике, брат ее, гимназист.

Валерьян, Петя, Лида, Вера, Андрей и др. подростки, юноши и девушки.

Две горничные: Матильда, здешняя, служит у Вожжина, и Марфуша, саратовская – у Елены Ивановны Вожжиной.

Действие первое

Квартира Ипполита Васильевича Вожжина, инженера. Большая гостиная. Налево, в глубине, дверь в коридор, прикрытая ширмами. Прямо две двери: левая в залу и кабинет Вожжина, правая – в приемную и прихожую. Последняя тоже отделена ширмами. В правой стене, вблизи, одна небольшая дверь – в комнаты друга Вожжина, Михаила Арсеньевича (*дяди Мики*). Мягкие диваны, картины; роскоши, впрочем, нет. Тут же, у передней стены, накрытый стол. Ипполит Васильевич и Анна Дмитриевна кончают завтрак. Анна Дмитриевна – круглолицая, веселая и приятная, одета красиво, в домашнее платье, но не пеньюар. Рядом на спинке стула лежит меховая накидка.

Анна Дмитриевна. Надо мне, Ипполит Васильевич, опять с вашей Матильдой поговорить. Щипцов к сахару не подала, и взгляните, крышка-то у кофейника!

Вожжин. Это со вчерашнего дня. Вчера, говорит, разби-лась.

Анна Дмитриевна. Так купила бы. Нет, Матильда, – она пока ничего, только следить, конечно, надо. И кухарка у вас хорошая, лучше моей Марьи, а небрежная: чуть что, обедать ли к вам пришли, или я же у вас завтракаю – летит к Марье за тем, за другим: благо через площадку, дверь в дверь.

Вожжин. Да Бог с ней. Готовит хорошо. Михаилу Арсеньевичу нравится.

Анна Дмитриевна. Удивительно, что нравится. Такой капризник. К чему-к чему, а к хорошему столу вкус не потерял. Я всегда смеюсь. Сережа мой, да и вся эта детвора, что льнет к вашему дяде Мике, знаете, как его называют? Дядя, потерявший вкус к жизни. А я смеюсь: к обеду-то хорошему вкус не потерял. Где он сейчас, дома?

Вожжин. Спит. Вчера ворчал, какую-то статью ему надо было кончить, поздно лег, и к завтраку, говорит, не встану. Теперь уж, наверно, скоро явится.

Анна Дмитриевна. Да пусть его отдыхает. Мне ведь он не нужен. Это Сережа мой всякую минуту: где дядя Мика? Надо дядю Мику спросить... Мы с дядей Микой условились... Я забегу к дяде Мике... Всякую минуту, право. *(Смеется.)* Не надоел он вам? Сережа-то?

Вожжин. Да я его и не вижу. Должно быть, к Мике прямо. Их много к нему приходит; товарищи все Сережины. И барышни, сестры. Руся Шаповалова, например, с братом Никсом, книги он, что ли, им дает.

Анна Дмитриевна. Шаповаловы – родные его племянники или двоюродные? Нике в одном классе с Сережей. Какие книги дает? Право, Ипполит Васильевич, если б это не дядя Мика, и не старый ваш приятель, с которым столько лет вместе живете – я бы подумала, уже не запрещенные ли книги дает какие-нибудь? *(Смеется.)* Или конфетами он эту

детвору обкармливают? (*Смеется.*)

Входит Михаил Арсеньевич Ясвейн, «дядя Мика», «дядя, потерявший вкус к жизни». Ему лет сорок, худощав, высок, моложав, без бороды. Очень корректен, лицо равнодушное, довольно неподвижное.

Анна Дмитриевна. А мы о вас говорим! Выспались?

Дядя Мика. Нет, не выспался. Сегодня рано лягу. Здравствуйте, голубушка. (*Целует ей руку.*) Вы уж и позавтракать успели?

Анна Дмитриевна. Еще бы! Я скоро домой побегу, одеться, – выехать надо. А вечером мы с Ипполитом в концерт. Вы не забыли, Ипполит Васильевич?

Вожжин. Помню, помню.

Дядя Мика. Вам не удивляюсь, Annette. А Ипполита как бы вы не затормошили. Не молоденький, слава Богу.

Анна Дмитриевна. Что ж, он не дядя Мика, вкус к жизни не потерял пока. Да, мы говорили, я удивлялась, что это ребятишки к вам льнут? Мой Сережа первый... За что это они вас обожают?

Входит Матильда, подтянутая, сухая столичная горничная в чепчике.

Матильда (*Вожжину*). Вас, барин, там барышня одна спрашивает.

Вожжин. Меня? Какая барышня?

Матильда. Незнакомая. Молоденькие такие.

Вожжин. Да нет, это не меня, это, верно, Михаила Арсе-

ньевича. Подите толком узнайте.

Анна Дмитриевна. Вот уж незнакомая какая-то!

Матильда вышла.

И что им в вас нравится? Вкус к жизни потеряли...

Дядя Мика. Это и нравится, что вкус потерял. Я им ни в чем не мешаю, ничего от них для себя не хочу, а разумением своим помочь могу. Вкус потерял, а разумение жизни при мне осталось. Я – полезен, я – живая книга для них, справочник; где хотят – там и раскроют. Читать умеют. Да вам этого не понять. Вам не до чтения.

Анна Дмитриевна (*обиделась*). Почему не понять? Неужели я такая непонятливая? Мой Сережа, это сущий ребенок, достаточно я его знаю, и он...

Матильда возвращается.

Матильда. Барышня говорят, что они не к Михаилу Арсеньевичу, а к Ипполиту Васильевичу. Очень просят приезжие.

Анна Дмитриевна (*прерывая*). Да примите ее здесь, Ипполит Васильевич. Мне интересно, какие это к вам приезжие барышни. Очень интересно. Если не секрет.

Вожжин. Какие секреты? Просто ошибка. Вы бы узнали, Матильда, что она, по делу, или... ну как фамилия... Наверно путаница. Наверно к Михаилу Арсеньевичу.

Матильда. Они объяснили фамилию. Она Софья Ипполитовна, к папаше...

Вожжин (*вскочил*). Что? К папаше? Ко мне? Соничка?

Девочка? Маленькая? С кем она? Да не может быть!

Матильда. Барышня. Одни пришли. Как прикажите сказать?

Вожжин. Что? Сказать? Ничего не понимаю! Как Соничка? Пойдите, Матильда. Погодите. Или нет... Она из Саратова? Одна? Ведь я еще неделю тому назад писал ей. Собирался... Да пустое! Чепуха. Перепутали. Не может девочка одна...

Дядя Мика. Ипполит, успокойся. Раз это Соня, – значит Соня. Ты сколько времени ее не видал? Года четыре или больше в Саратов прособирался? Ну вот, ей уж теперь лет шестнадцать. Вот тебе и барышня. Какая же маленькая? Иди скорее. Или постой. Ты так взволнован. Я сам ее тебе сейчас приведу.

Уходит. Матильда за ним. Анна Дмитриевна встает, берет поспешно меховую накидку со стула.

Анна Дмитриевна. Ипполит, я пойду. Это в самом деле ваша дочь, должно быть. Я пойду. Я через коридор, к себе. Я не хочу встречаться.

Вожжин. Идите, дорогая. Ах, Боже мой! Ничего не понимаю. Соничка! Софиночка! Идите. Не простудитесь, лестница холодная, закутайтесь... Софиночка! Господи!

Анна Дмитриевна. Хорошо, хорошо. И чего тут особенно волноваться? Растерялся, испугался. Вечером-то мы в концерт, не забудьте!

Вожжин (*рассеянно*). Да, да, как же. Да я лучше сам... Я

уж пойду...

Идет к двери направо, не глядя на Анну Дмитриевну, которая закуталась, подождала, хотела еще что-то сказать, но не сказала, быстро ушла в дверь налево. Вожжсин у порога сталкивается с Софиночкой. За ней идет дядя Мика.

Дядя Мика. Ну вот тебе твоя маленькая девочка.

Финочка (*смотрит секунду неподвижно на Ипполита, потом порывисто обнимает его, прижимается, громко шепчет несколько раз*). Папочка! Папочка!

Дядя Мика. Соня, да вы взгляните: не опомнился. Плакать сейчас будет. Не верит, что маленькие дети вырастают с течением времени в больших людей.

Ипполит Васильевич очень растерян и очень рад. Сияет и чего-то боится. То усаживает дочь на диван, не выпуская ее рук, то бросается к столу. Говорит отрывистые слова, спрашивает – и не дожидается ответа. И опять суетливо бежит к столу.

Вожжсин. Ты лучше сядь сюда. Да. Мы уж тут позавтракали... Это ничего. Можно сейчас. Я сейчас.

Финочка. Да нет, папа, я не хочу.

Вожжсин. Не хочешь? Ну, чайку. Выпьешь чайку?

Дядя Мика. Точно дитя, право. Ты спроси ее лучше, как она здесь очутилась.

Финочка. Ах, дядя Мика, подождите. Я сама не опомнюсь. А он так давно меня не видал, не узнал.

Дядя Мика. Я дольше не видал, а узнаю.

Финочка. И я вас сразу, дядя Мика. Вы у нас два лета на Волге жили. Еще мне про Гамсуна рассказывали.

Вожжин. Про Гамсуна? Постой, постой, да тебе тогда лет восемь было?

Финочка. Так что ж, папочка? Люди ведь все помнят.

Вожжин. Не знаю. Так давно... Финочка, а я писал тебе, собирался, и вдруг...

Финочка (*серьезно*). Я получила твое письмо. Мы ведь здесь только три дня. Мы в гостинице. И Марфуша с нами. Мамочка к докторам... Ее послали, посоветоваться. Больна была. Ну вот и возились. Мамочка здесь души будет брать. Больше двух недель курс.

Матильда в это время убрала стол и подала чай.

Вожжин. Так. Ну что же. Это отлично. Великолепно. А вот и чай нам дали. Хочешь чайку? Давай чайку попьем.

Переходят к столу. Софина в меховой шапочке, с муфтой, Вожжин суетится, не может найти тона, не привык к дочери. Дядя Мика держится в стороне, курит.

Вожжин. Ты, может, со сливками, Софиночка? Да... Вот ты какая... А я тебе писал – все тебя девочкой представлял, как последний раз видел. Так, значит. И ты мне толком не писала ничего. То есть о себе, о жизни... (*Помолчав.*) Как же занятия твои? Гимназия? Ты в предпоследнем классе? Да, как же ты теперь-то приехала? Пропускаешь занятия?

Финочка (*помолчав*). Мамочка не хотела ехать, да нельзя, я ее уговорила. А я все равно не в гимназии. Я давно вы-

шла.

Вожжин. Как? Вышла? Отчего? Да нет!

Финочка. Правда, вышла. Я с учителями...

Вожжин. Разве лучше с учителями?

Финочка. Не знаю... Нет. Я вообще худо учусь. Худо, нехорошо. Прости, папа, я не писала, не хотела тебя огорчать. У меня стал ленивый характер.

Вожжин. Ничего не понимаю! У тебя ленивый характер? Да ты первой шла! И что гимназия, ты же мне писала, – ведь ты книжница у меня известная... Ведь я же знаю... Отчего вдруг? *(Помолчав.)* Как вообще... Как ты там это время... Тебе ведь хорошо жилось? Подруги там... Ну и вообще, как?

Финочка. Хорошо. Ничего. Обыкновенно. Мне хорошо.

Дядя Мика незаметно вышел. Вожжин и Финочка некоторое время молчат.

Вожжин. Да... Так, значит, хорошо. Да. Ну, а летом ты, как всегда, на Волге, на даче? Там же? Финочка. Там же.

Вожжин. И... летом ты гуляешь, читаешь... Ты бы написала, я бы тебе книг прислал. Там, конечно, трудно достать, в Саратове. Может быть, опять как-нибудь... приохотилась бы. *(Помолчав.)* А все-таки жаль это... что ты из гимназии-то... Подруги, своя жизнь, мало ли?

Финочка. Что ж делать, папа.

Вожжин. А учителя все-таки хорошие? Ничего?

Финочка. Ничего. Обыкновенные.

Оба молчат.

Вожжин (*с внезапным порывом*). Финочка! Деточка! Я так не могу. Ты ведь одна у меня. Отчего ты такая? Скажи мне. Тебя обидел кто-нибудь? Ну я виноват сам, четыре года не собрался, все дела, все думал, съезжу... Вот ты приехала – и точно чужая. А я говорить не умею. Не знаю, как тебе там... как живется...

Софиночка ставит чашку, закрывает лицо руками и вдруг начинает плакать, громко, как ребенок.

Вожжин (*растерянно наклоняется к ней*). Деточка! Деточка моя крошечная! Миленькая моя девочка!

Софина. Я не плачу, не плачу, оставь! Ты спрашиваешь, как живу, так вот: худо, нехорошо! Нет, пусть ты знаешь! Худо, а тебя нету, тебя до ужаса все нету! Письмами нельзя. Разве можно письмами?

Вожжин. Да не письмами... Девочка моя! Ты забыла, что я у тебя есть? Да если б я только знал!

Софина. Не есть, а нету тебя никогда! Столько лет нету! Я из гимназии ушла – все равно бы выключили! Я в зале, в большую перемену, при всех, Катю Шантурову в лицо ударила!

Вожжин. Господи! Финочка!

Софина. Да, да! Зачем она осмелилась? Мы поссорились немножко, а она вдруг говорит: «Твоя мама Свиридовская содержанка! Твой папа ее, Свиридову продал. Это вся гимназия знает». Осмелилась! Пусть еще скажет, опять ударю!

Вожжин. Что же это такое, Господи!

Софина. Молчи, постой. Ты думаешь, я верю, что она сказала? Да несколько. Я должна была ударить, но я не верю. Просто мама полюбила Свиридова, а вы вместе согласились, чтобы ты уехал, что так лучше. Я же все помню; и тогда все понимала, это вы думали, что я маленькая и ничего не понимаю. Свиридову нельзя жениться, у него жена больная, в купечестве если развод, так его отец с фабрики выгонит, я все знаю! и хоть Свиридов с мамочкой в одном доме никогда не жил, а все-таки она ему стала как настоящая жена, с любовью, а вовсе не содержанка! И у нее свои тоже деньги, дом ее же... Только вот я у мамы... Учителей его, свиридовских, не хочу. Лучше совсем не буду учиться... Прачкой буду, горничной...

Вожжин. Какие свиридовские учителя? Ты не живешь на свиридовские деньги! Если ты все знаешь, так знаешь же, что я высылаю на тебя...

Софина *(не слушая)*. И что я его ненавижу – я не виновата! Я мамочку люблю, тебя люблю, а из-за него тебя нет никогда, из-за него мамочка... мамочка, такая бедная, больная, мучится всегда, и одна всегда... Он тоже меня ненавидит. И боится. Без меня кричит на мамочку, – точно она вправду его купленная! а при мне не смеет. Когда поссорятся, уйдет – мамочка со мной плачет. Она слабая, мамочка. Я утешаю, жалко, а я бы его... я его когда-нибудь... *(Вдруг мрачно останавливается.)*

Вожжин *(шепчет в ужасе)*. Фина, Фина, что ты...

Фина (*всхлипнув*). А тебя нету, папуся. Если б только мамочка... ели б дал Бог, увидела бы она сама...

Вожжин (*целует ее, гладит по голове, дрожит*). Родная моя... Разве я знал. Ничего-то я не знаю. Дурак дураком. Одно знаю: так нельзя. Так уж не будет. Ты уж меня больше не покидай. Надо подумать. Надо поговорить. Я уж все устрою.

Софина. Правда? (*Вздыхнув, улыбается.*) Ты прости, папочка. Я не плачу. Я знала, надо только тебя увидеть, а уж там что-нибудь придумается. Мамочку так умоляла поехать. Она больная, нервная. А Свиридов сейчас в Англии, по делам фабрики отправился. Последнее время мало приходил, злой. Мамочка раз так плакала, что я решилась: пойду за ним, пусть. Ну – помирился. Только мамочка сама уж видит, какой он, сама понемножку начинает видеть... Да я одна ничего не могу.

Вожжин (*злобно*). А как ты-то живешь между ними – это она видит?

Фина. Папочка, ради Бога! Ведь она же несчастная! Ведь она же больная!

Вожжин. Ну да, ну да... (*Ходит по комнате.*) Конечно, надо подумать. Надо поговорить. Надо мне с ней поговорить.

Фина (*вдруг просияв*). Тебе с мамочкой? А ты... ничего? Можешь? Можешь с ней видеться? Согласен?

Вожжин. Да я... Господи, отчего же? Конечно, могу. Это отлично, что вы приехали. Мне даже надо... Даже нельзя, я думаю, иначе. Не враги мы, Господи Боже мой. (*Ходит по*

комнате.) Только надо, конечно, узнать, как она смотрит на это... Как удобнее... А я готов.

Софина. Папуся, милый мой, единственный мой! Я знала, что ты придумаешь! Я мамочке скажу. Условимся. Мы в гостинице, совсем близко. Я устрою. Ты и придешь. Ах, папочка!

Вожжин. Только если мама сейчас очень нездорова...

Софина. Ей уж лучше. А через несколько дней ей совсем будет лучше. Я каждый день к тебе стану приходить, хорошо? И условимся. Ну, побегу теперь. Мамочка одна. Папа ты мой родной! Какое тебе спасибо!

Вожжин. Завтра придешь? Да как же ты одна?

Софина. Я на трамвае. Ах, папа, какое у тебя печенье это вкусное! И конфеты. Да уж мне сейчас некогда.

Входит Сережа, сын Анны Дмитриевны, высокий, тонкий гимназист; с тремя книгами.

Сережа. Ипполит Васильевич! Здравствуйте. А дяди Мики нет? Я к нему на минуточку...

Вожжин. Ну уж, конечно, к дяде Мике. Он сейчас тут был. А это... это дочка моя, Сережа, видишь, какая большая? Гимназистка из провинции. И тоже Мику помнит.

Сережа и Финочка молча, немного смущенно подают другу другу руки.

Сережа. Вы недавно приехали?

Фина. Недавно. Что это у вас за книги?

Сережа. А французские. По истории синдикализма. Да

дядя Мика говорит, что есть еще одна, более широко написанная. Я последнюю неделю этим занят.

Входит дядя Мика. Он был в соседней комнате.

Фина. А я ничего не знаю о синдикализме. Раз статья попала, а книг у нас недостать.

Дядя Мика. Ничего, поживете у нас, обо всем узнаете.

Вожжин. Да на что ей синдикализм? Вот уж не понимаю!

Дядя Мика. Мало ли ты чего не понимаешь! Вы уходите, Софочка? Уж стемнело, вы здесь новенькая. Вот вас Сережа до трамвая проводит. Вы свободны, Сережа? Кстати, по дороге подружитесь. Надо будет Соничку, при случае, и с Русей, и с Никсом познакомиться.

Сережа. И с Лидой. Я свободен, дядя Мика. Вы на какой трамвай, Софья Ипполитовна? Лучше уж я вас до дому доведу. Выходите, я догоню, я только пальто, мне тут сейчас, через площадку. *(Хочет бежать к двери, возвращается)*. Да, Ипполит Васильевич, мама просила напомнить, сегодня в концерт, ровно в половине восьмого!

Уходит быстро. Софиночка прощается с дядей Микой и уходит в другую дверь. Вожжин идет за ней. Дядя Мика усаживается в кресло, закуривает. Через минуту опять входит Вожжин, – один.

Вожжин. Я так растерян. Я прямо с панталыку сбился. Если бы ты, Мика, слышал. *(Ходит по комнате)*. На месте сидеть не могу.

Дядя Мика. Да я и слышал. Рядом был. Все равно рас-

сказывать бы стал, только напутал бы.

Вожжин. Отлично. Тем лучше. Значит, тебе тоже ясно: я ее к себе должен взять. Что?

Дядя Мика. Ничего. Продолжай.

Вожжин. Тут двух мнений быть не может. Если б я даже и не любил ее, как люблю... – чувствую, только ее одну и люблю на свете! – так и то, это преступление оставлять ребенка в подобной обстановке. Я отсюда вижу, что это такое! Ты не знаешь, ты не можешь себе представить.

Дядя Мика. Могу себе представить.

Вожжин. У меня точно глаза раскрылись. О чем я думал? Ну тогда, драма эта, восемь лет тому назад – что ж было делать? Елена Ивановна – честный, прямой человек, сразу сказала, что любит этого савраса... тьфу, не хочу ругаться, ее дело, – этого купчика Свиридова. Любит и любит, я обязан был дать ей свободу. Ребенок – восьмой год, как его от матери? да и разве я знал, где устроюсь, что со мной будет? Ну мог я иначе поступить?

Дядя Мика. Почему я знаю! Ты со мной не советовался. Да я советов и не даю никогда.

Вожжин. В самом деле, какое я право имел не уехать, или уехать и взять с собой девочку, ничего не понимающую, ребенка лишить материнской заботы? Имел я право, или не имел?

Дядя Мика. Да ведь теперь это все равно.

Вожжин. Конечно, конечно. Теперь надо о теперешнем

думать. Да и думать нечего. Беру к себе, решено! Если б ты знал, какая это девочка! Отдам ее в частную гимназию хорошую, потом на курсы...

Дядя Мика. Надо, чтобы они обе согласились.

Вожжин. Кто это – обе? Ну, не сумасшедшая же мать, ведь должна же она видеть! А Финочке самой невтерпеж, ты слышал, кажется. Это вздор. Только бы скорее устроить... У меня точно глаза раскрылись.

Дядя Мика. Постой-ка.

Вожжин. Ну что? Что еще?

Дядя Мика. Ничего. Просто спросить хотел. Ты, значит, мечтаешь сюда к себе Фину перевезти?

Вожжин. Не мечтаю, а твердо решил. Отдам ей мою спальню, громадная комната, мне бесполезная, буду в кабинете. Какая хорошая гимназия ближе? А тебе, Мика, вот еще одна племянница.

Дядя Мика. Я могу и уехать, если мои комнаты нужны. Постой, не о том: я хотел спросить, ты уверен, что Финочка к Анне Дмитриевне благодушно отнесется?

Вожжин (*останавливается*). К Анне... что? К Анне Дмитриевне? Что?

Дядя Мика. Ну, ты забыл про Анну Дмитриевну, вижу. Я и хотел напомнить.

Вожжин. Забыл... Нет. Ну, да, забыл... Я...

Дядя Мика. Вот то-то же. Этот вопрос выясни. Финочка – неизвестность. Вдруг возмутится: стоит ли менять ма-

мочку со Свиридовым на папочку со вдовой Лебедевой?

Вожжин. Как ты... Как ты груб, Мика. Как ты можешь...
У меня вся душа дрожит, а ты...

Дядя Мика. Дрожит или не дрожит – факт остается. Я тебе никаких советов не даю, просто указываю на факт, чтобы ты его увидел.

Вожжин. Не беспокойся, вижу, понял. Анна Дмитриевна...

Дядя Мика. Ну, что ж ты остановился?

Вожжин (*решительно*). С Анной Дмитриевной я порву.

Дядя Мика. Вот как!

Вожжин. Да, так. Ты прав; девочка, переезжая ко мне, должна войти в чистую жизнь. Все для нее, обо мне не толк. Да и что же Анна Дмитриевна? Я человек простой. Она хорошая, добрая, нежная, оба мы были одиноки... Понятное дело. И какая тут параллель со Свиридовым, нашел тоже!

Дядя Мика. Тем удивительнее, что ты так скоро решаешь с этой доброй, нежной женщиной: пожалуйста, ищите себе квартиру на другой улице, я желаю чистоты и более не одинок. За что же это?

Вожжин. Мика! Дружба дружбой, но смотри, издеваться я над собой не позволю!

Дядя Мика (*пожимая плечами*). Как глупо!

Вожжин. Да она сама первая поймет! Если она меня любит, она должна понять!

Дядя Мика. Если любит, так чтобы убиралась вон?

Вожжин. Все равно, все равно, я должен, я так решаю! Соня будет жить со мной, и никто, ни ты со своими злыми улыбками, ни Анна Дмитриевна, – никто не заставит меня изменить это: слишком все ясно и просто!

Дядя Мика. Так ли просто? И не кипятись очень, скорее остынешь.

Вожжин (*сидясь в кресло, тихо и беспомощно*). Ах, Мика, я человек простой, просто и хочу понимать. Слабый я, что ж, правда; а ты видишь – ну и помог бы. Поддержал.

Дядя Мика. Мне, Ипполитушка, все равно. Я наблюдатель, советов не даю. Посмотрю, что будет.

Вожжин. Да, вот ты какой. Холодно с тобой, Мика.

Дядя Мика. Брось сантиментальности. И не кричи о своих решениях. Поверь, девочка твоя умнее тебя. И если что будет – так будет как она захочет, а вовсе не как ты.

Вожжин (*вскакивая*). Довольно! И чего я с тобой? Мое дело, моя дочь, мое и решение. Привык уж на тебя не обижаться. Что надо, то и сделаю. (*Уходит.*)

Дядя Мика (*вслед, со скучающим видом*). Как глупо! Как глупо! И как ты наивен!

Действие второе

Кабинет дяди Мики, громадная комната, стены все сплошь в книжных шкафах. У окон, справа, письменный стол и турецкий диван, у левой стены, в уголку, пианино. В обыкновенное время комната должна казаться очень пустой, как библиотечная зала. Теперь середину ее занимают стулья, разные, собранные, очевидно, со всей квартиры, поставленные кругом. На стульях сидят подростки, юноши и девочки. Некоторые в гимназической форме, в блузах, девочки в полукоротких платьях, с косами; но есть и более взрослого вида. Один мальчик лет 16, Петя, в старом пиджачке. Борис, юноша совсем взрослый, в рабочей блузе. Лида, вид детский, серьезный, около 14 лет. Гимназистка Руся, тонкая, бойкая, в черном передничке, с короткой и толстой рыжей косой, на висках волосы сильно кудрявятся. В центре стоит маленький столик, за которым сидит Нике, брат Руси (*председатель собрания*) и большой черный гимназист, Валерьян (*делал доклад*). Сережа сбоку, у письменного стола, перед ним бумаги, записывает. На турецком диване, в стороне, дядя Мика. Около дивана, тоже немного в стороне, на стуле, Финочка. Она без шляпы, но с муфтой. Катя и Маруся, – сестры, Володя Рамзин, Вулич, Вера, Андрей и другие. Сидят свободно, некоторые с записными книжечками. Слышны голоса.

Валерьян (*кончая*) ...так я вот только и говорю: тут есть соответствие эпох.

Лида. А я возражала и опять говорю, если искать повторных волн, то 61-й, 63-й годы более соответствуют...

Володя. Идентичности нет, выводы же о соответствии произвольны...

Вера. Данный вопрос – деталь, и мы слишком мало изучили картину эпохи, чтобы...

Петя (*басом*). Какие эпохи! По десятилетиям, и того меньше, считаем...

Нике (*председатель*). Погодите, постойте! Этак мы спутаемся. Кто еще что знает насчет Валерьянова доклада? Насчет Грановского и Гегеля? Все сказали? Хорошо. Так теперь я скажу два слова, а потом можно к личным делам перейти. Я скажу, что напрасно мы спорим, нам надо учиться, а времени и так ужасно мало. Для того мы и разделяем между собою разные вопросы, чтобы каждый внимательнее изучил и другим рассказывал. Нам, главное, знать подробнее обо всем, что было, а остальное уже после, само придет. Согласны?

Голоса. Согласны! – Конечно! – Но пусть Валерьян не делает выводов! – Конечно, надо знать поскорее. – Да как же не спорить? – Нет, нет, объективности нельзя же достигнуть... – Нет, правда, нам и без того некогда...

Нике. Хорошо, хорошо! Спорить будем, когда личная беседа. Вот хоть сейчас. Сережа, ты в протокол споры не записывай, а только дополнения и пояснения.

Серезжа. Ну да, сегодня я только Володю и Андрея занес, насчет Гегеля, да Марусю, об окружении Грановского.

Дядя Мика. Нельзя ли мне частное заявление?

Нике. Пожалуйста, дядя Мика. Мы ведь теперь к свободной беседе переходим. Но только все же по порядку.

Дядя Мика. Я вот что хотел, господа. Сегодня здесь, кроме меня, хотя и не члена Общества Зеленого Кольца, но постоянного гостя его собраний, присутствует еще один посторонний человек: Финочка Вожжина. Она пришла случайно, к своему отцу, которого не застала, и я взял на себя смелость просить вас о дозволении...

Нике и Руся. Да, да! Мы очень рады были...

Дядя Мика. Многие из вас с ней уже знакомы, видались за эти две недели ее пребывания здесь...

Руся. Да конечно же! Я была убеждена, что она войдет в Зеленое Кольцо! Даже если и не останется тут. У нас много членов в провинции.

Нике. Подожди. Дядя Мика, вы знаете, что вступающий член должен ответить на некоторые вопросы и затем быть осведомленным...

Дядя Мика. Вот к осведомлению-то я и веду. Вас много, начинается беседа, в беседе вы могли бы коснуться того, что пояснит для вновь вступающей главные задачи и... ну смысл, что ли, вашего Зеленого Кольца.

Финочка. Можно, я сама скажу? Да, я случайно, мне ничего не говорили об обществе, но я почему-то не удивляюсь.

Как будто так и должно быть, и без этого нельзя. Очень хочу быть с вами, хотя многого не знаю. Даже совсем ничего не знаю, и по вопросам, о которых здесь говорили, ничего еще не читала. Там, в Саратове, у меня сначала были подруги, знакомые, но в самое-то последнее время я не могла... То есть совсем отстала...

Нике (*кивая головой*). Ну да, у вас тяжелое семейное положение. Это очень мешает. Трудно, если один среди старых и не с кем посоветоваться. Но за то и это дает известные знания. В особом порядке, тоже необходимом Опытном. То есть я говорю про острые столкновения с миром старых.

Руся. Мы должны нашу жизнь и наши отношения к старым сами решать, сами разумно вести.

Петя (*басом*). У многих положения тяжелые, по-разному. Даже как бы безвыходные. Кто в гимназиях и с родителями интеллигентными – что ни говори, легче.

Руся. Вздор, вздор! Вы, Петя, зато уже на своих ногах, вам ничего силой не навязывают, вам не надо выкручиваться. Работы много в переплетной, да я бы рада. И у всех у нас по горло работы, время не ждет.

Володя. Так жизнь перековеркали, что вот ни за что на свои ноги вовремя не стать! Нам уж скоро совсем пора, люди же теперь скорее растут, а поди-ка, стань! На чужой счет живем. Вывертывайся, как знаешь. А женщинам еще труднее. Хоть замуж выходи.

Сергея. Это ничего, ничего! То есть плохо, конечно, а

только надо с данным считаться, с настоящим, для будущего-то. Считаться так, чтобы пользоваться, пока нельзя иначе. Выбирать нужное. Ну, чтобы замуж – это надо очень большую силу. И случай особенный, иначе совсем на ноги не станешь. Хотя прежде, в 60-х годах, вы знаете, бывало: выходили барышни замуж нарочно, чтобы ехать учиться. Это вроде же. Но я говорю только, что надо считаться и выкручиваться, и это ничего, худого никому не будет.

Финочка. Я не понимаю. Ведь мы все-таки еще очень молодые. Отчего времени нет? Надо учиться, да время же есть?

Сереза. Совсем нету времени!

Маруся. Мы бы рады, а нету! Мы еще не зрелые, мы и спешим, такими нельзя жить. Вы слышали, теперь люди скорее растут. Нам очень скоро – пора.

Лида. Хуже будет, если мы не успеем...

Вера. И так незрелыми... вдруг придется?

Андрей. Стриндберг прав, незрелыми нельзя; все прежние молодые, – те сразу себя умнее всех чувствовали, а мы совсем новые молодые, мы себя сознаем...

Володя. Да, ужасно странно, что все прежние поколения непременно все ту же ошибку повторяли. На это опираются сторонники мирового круговращения.

Маруся. Отчасти потому, может быть, что наука была в зачаточном состоянии?

Нике. Ну, вряд ли потому. Но, конечно, идея творческой эволюции не была еще воспринята человеческим сознанием

вообще. И значение истории, и ее движение, ускоряющееся подобно летящему камню, начинаем понимать – мы первые. Надо спешить...

Финочка (*растерянно*). Нет, я не понимаю... То есть да, спешить надо, но если мы не готовы...

Сереза (*кричит*). В том-то и беда! Мы будем не готовы, – кто же будет жить? Ведь скоро некому жить!

Руся. Некому, некому! Старые и усидят поневоле, все вконец перепортят; мало сейчас напорчено, и так трудно будет.

Финочка. А... те молодые? Ведь есть старше нас. Я не знаю... Но ведь считается...

Нике (*перебивая*). Это уже известно. Те у нас тоже старые. Они совсем не могут жить. У них уже была своя история, своя, – понимаете? Свое какое-то прошлое, и неудачное. Они не вышли. А мы свежие. Для нас все – не наша история, а вообще история, для изучения, – а не для увлечения.

Руся. Ах, ты непонятно! Фина, у меня брат студент, ты его видела, они же известны! Они все дряхлые или больные. Уж чем-то своим поувлекались, слабо, и бросили. И теперь они или уж ничем, – так поживают, ничем не интересуются, – или убивают себя.

Андрей. Да на узком примере – и то ясно. На литературе. Они своих разных писателей переживали, ну там Андреева, что ли, или как его? который «Санина» – написал? А для нас и эти, и Писемский, и Белинский, и Бенедиктов – все в

одном плане, в историческом. Для изучения. Нам все видно.

Дядя Мика. Простите, я в скобках. Нельзя сказать чтобы и вы страдали отсутствием самонадеянности.

Руся. Это уж, дядя, необходимо! Мы, дядя, в свои силы верим! Мы не виноваты, что старые-молодые такие, в бессилии и в невежестве.

Сереза. Они в щель истории попали, с них нельзя требовать. Самые старые, папы и мамы, лучше. От них можно брать нужное, как из книг.

Володя. Только самим брать, а чтобы они не навязывали.

Руся. Да, надо очень быть настороже. За то им и своего не навязывать. С милосердием относиться.

Финочка. С милосердием?

Руся. Да, да, без всякого эгоизма. Пусть они будут, какие хотят, поступают, как думают лучше. В своих личных делах, конечно, не в общих. Для себя. Чтобы только не впутывались в наше, в общее, в чужое...

Сереза. Это про честно-старых верно. А с этими, с молодыми-старыми, – мы и не столкнемся!

Нике. Да, они так пройдут. Мой брат очень вопросом пола увлекался. А теперь вовсе ему все равно. Поживает. Думает, так и надо. Ничего не знает. Две недели тому назад у него товарищ застрелился. От настроений. Тоже ничего не знал.

Лида. Я хотела бы сказать насчет одного вопроса...

Володя. Если насчет пола, то не надо. Мы это пока остав-

ляем. Семья у нас – мы все, а пол – пока не надо.

Голоса. Да, не надо! Это мы после! Тут тоже надо знать.

Лида. А если я влюблена? Впрочем, я хотела про другое...

Руся. Да мы все влюблены! Вот странно! Кто же из нас не влюблен? Но это ничему не мешает. При чем тут сейчас же разбирање вопросов пола? Я тоже нахожу, что нам с этим рано. Углубимся, все равно не решим, другое пропустим... Даже нездорово.

Нике. Конечно, влюбленным быть можно без всяких решений. Что же касается... Уж поднималось это, уж положили в общем: относительно пола, в физиологическом смысле, – для нас выгоднее воздержание.

Петя (басом). Да это конечно. Гигиена и все прочее. А живешь среди скотов, так того больше отвращает.

Борис (волнуясь). Вы и по возрасту подходите... А мне двадцать третий год. Я знаю, Зеленое Кольцо не по возрасту цифровому, а по складу главное... Я во всем прочем к вам подхожу, а только жизнь такая случилась... Я уж был не чистый...

Сереза. Это же ничего, Борис, мы уже говорили. Мало ли что случалось. А если вы теперь так влюбитесь, что захотите жениться, – что ж худого? У нас в общих-то чертах ведь все на первое время выяснено, вы знаете.

Лида. Я вовсе и не о поле хотела... Насчет влюбления это я так, кстати. А я про самоубийство...

Руся. Опять про самоубийство?

Лида (*обиженно*). Нисколько не опять. Я тогда молчала, когда говорили про тех молодых, которые старые, что они себя убивают. А по-моему, это и среди нас есть, то есть желание иногда.

Финочка. Ах, правда! Иногда тяжело, тяжело, все мерзко, думаешь, лучше не жить, вернее. (*Смешавшись*.) Я ведь все одна... И ничего не знаю... И худо мне жить, противно, вообще...

Лида. А мне ничего себе жить. Только вчера шла из гимназии домой по лестнице, уж темновато, и вдруг гляжу в пролет, и вдруг так хочу броситься. Чтобы не жить. И, главное, совсем беспричинно.

Дядя Мика (*с дивана*). Можно мне вам справочку?

Нике, Сережа. Раскрывайся книга! Говорите, дядя!

Дядя Мика. У вас же признавалось вероятие теории Мечникова насчет физических причин пессимизма у людей незрелых. Мечников говорит о фауне кишечника. А недавно – еще исследователь открыл возможность давления одних мозговых клеточек на другие в незрелом организме... Словом, те же физические причины. Так что и желание умереть – чисто физическое.

Руся (*подхватывает*). Да, да! Если душа пустая, старая и слабая, так с физикой и нечем бороться. А молодой душе не страшно. Вот Финочка жива. И Лида в пролет не бросилась.

Лида. И не брошусь ни за что.

Финочка *(с волнением)*. Как же поручиться? Я не могу поручиться. Кругом все несчастные, злые, гадкие... И все не устроено. И я все одна, точно на всем свете одна. Кого люблю, того нет. И не знаю, куда себя девать, и кому я нужна, уж не помню, на что и себе то нужна, и что мне по правде лучше делать. Сделаю что-нибудь, не стерплю, кажется – нельзя иначе, – а выходит... ничего не выходит. Помочь никому не могу... И мне ведь тоже никто, никто... Я же не виновата, что я совсем одна и ничего не знаю...

Почти все давно не сидят на местах. Теперь Финочку окружили. Бойкая Руся ее поцеловала.

Нике. Нисколько вы уж не одна.

Сереза. Вы теперь навсегда с нами.

Володя. Она и была наша же, как мы.

Руся. Мы еще многого не знаем, не умеем со многим справиться. Ты забудешь, а потом вспомнишь, что есть Зеленое Кольцо, значит – не одна. Зеленое Кольцо про своих вместе решает. Ты, главное, не бойся.

Дядя Мика. Ну вот, сговорились. Я очень рад.

Финочка. Ах, дядя Мика! Мне вдруг стало весело! Какой вы, дядя Мика, добрый.

Дядя Мика. Где там добрый! Впрочем, я очень рад.

Финочка. Дядя Мика не добрый, он кожаный! то есть я хочу сказать – он наша книга, славная книга в хорошем кожаном переплете. *(Шаловливо целует его.)* Ему все равно, и он всему очень рад. Правда ведь, дядя Мика? *(Опять целует)*

ет.)

Дядя Мика. Довольно, довольно! очень рад, что вам всем так весело. Я-то при чем? Целуйтесь друг с другом, пляшите.

Руся. И будем плясать! Господа, беседа ведь кончилась, какая теперь беседа! Андрей, сыграйте нам, как прошлый раз, хорошо? Я потанцую, – вас сменю.

Голоса. Отлично! – Давайте!

Тащат, убирают стулья, смеются, Андрей открывает пианино.

Руся. Ты, Финочка, умеешь танцевать? Финочка. А что? Руся. Все равно что. Любишь? Финочка. Ужасно люблю!

Нике. Мы разные танцы танцуем, новые, есть хорошие. Володина мама умеет, он тоже, и нам показывает. Это нетрудно. Хотите со мной, я вас буду учить?

Андрей играет, почти все танцуют. Борис довольно неумело, но старательно, с Лидой, Руся с Серезжей.

Дядя Мика. Скажите, пожалуйста! Они скоро танго откалывать начнут! Как бы модность то не увлекла! (*Подбирает ноги на диван.*)

Руся (*останавливаясь против него*). Нам, дядя, все танцы хороши, лишь бы нравились. Все для нас новые, все для нас старые! Почему танго твое какое-то плохо? Ах, и вальс я люблю! Андрей, Андрей, вальс теперь!

Танцуют вальс. Танцы быстро сменяются; иные не успевают сразу схватить ритма, выходит веселая путаница, опять налаживаются. Из боковых дверей, около дивана, где

сидит дядя Мика, высовывается голова Ипполита Васильевича Вожжина, потом он нерешительно входит.

Вожжин. Скажите! Опять бал у дяди Мики! Вот веселье-то! Откуда столько детворы?

Дядя Мика. Отличный бал. А тебе надо лезть, мешать?

Вожжин. Чем же мешаю? Я с тобой.

Дядя Мика. Ну, я одно, а ты совсем другое. Да сиди, пожалуй. Раненько воротился.

Вожжин. Господи, и Финочка здесь? Как это она? Господи, а меня дома не было, я ее днем ждал.

Финочка уже заметила отца. Сразу оставила Никса, бросилась к Ипполиту Васильевичу.

Финочка. Папа! Ты пришел! А я тут ждала тебя... со всеми... у дяди Мики... Мне так тебя нужно было сегодня.

Вожжин. Ты устала? Вон как покраснелась. Сядь, отдохни.

Финочка. Нет, папочка, нет, это так. Я тебя ждала, а тут они все... После танцевать стали. Я давно, давно, папа, не танцевала!

Вожжин. Вот и славно, повеселилась.

Финочка. Нет, нет, вот что. Я с очень важным к тебе. Слава Богу, что ты вернулся.

Вожжин. Ну что, что такое? Не пугай меня.

Они отошли немного в сторону. Финочка держится за отца, изменилась, лицо серьезное, взрослое, брови нахмурены.

Финочка. Папочка, ты можешь – завтра? Вожжин. Что завтра, милая?

Финочка. Ну, Господи? Разве ты забыл? Ну что ты обещал? Согласился? Помнишь, еще в первый раз, как я пришла?

Вожжин. А, с мамой повидаться? Финочка, да ведь ты сама... Ведь я всегда готов. Мне даже необходимо с ней повидаться. Но ты сама откладывала, и даже со мной ни о чем не хотела говорить. А мне весьма это нужно.

Финочка. Мама была нездорова, расстроена... Я уж знаю, что так лучше. Теперь она и сама хочет. То есть не боится, что ее расстроит. У нее нервы окрепли немного. Я ей про тебя рассказывала.

Вожжин. Что рассказывала?

Финочка. Да вообще говорю о тебе. И ничего. О дяде Мике тоже. Знаешь, дядя Мика у нас был.

Вожжин. Вот как! Вот как! Для меня новость. Ну, и что же он?

Финочка. Ничего, отлично. Болтали. Мамочка даже развеселилась. Дядя Мика так умеет не... расстраивать. Понравился ей; очень, говорит, изменился за эти годы к лучшему. Папа, дорогой! Так ты уж завтра! Уж дольше никак нельзя. У нее курс лечения кончается. Завтра в двенадцать, хочешь?

Вожжин. В двенадцать? Хорошо. Отлично. Значит, в двенадцать? Хорошо, что сказала. Необходимо выяснить... Надо же как-нибудь... Да.

Финочка. Какой ты странный, папа. Я не понимаю... Впрочем, ты ведь сказал, – ты сам хочешь...

В среднюю дверь стремительно входит Анна Дмитриевна. За минуту перед этим танцы и музыка незаметно прекратились.

Анна Дмитриевна. Что это? Что здесь происходит? Дядя Мика, вы тут? Вы с ними? А Сережа где? Здесь Сережа?

Сережа. Вот я, мама. Что тебе? Что случилось?

Анна Дмитриевна. Да это я должна знать, что случилось! Дядя Мика! Ипполит Васильевич! Что происходит? Являюсь домой – Сережи нет. Бегу сюда – везде пусто, в дальнем кабинете шум, топот, заглядываю в переднюю – кучи пальто, женщин, солдат... Почему солдат? Откуда солдат?

Вожжин. Анна Дмитриевна! Ради всего святого! Успокойтесь, Анна Дмитриевна!

Дядя Мика. Да брось. Сама успокоится.

Лида (звонко). Какой солдат? С рыжими усами? С рыжими – наш денщик Пантелей. Он за мной всегда приходит.

Анна Дмитриевна. Пантелей? За вами?

Матильда (горничная) вошла следом за Анной Дмитриевной.

Матильда. Там за барышнями пришли. И человек за барышней фон Рабен.

Лида. Ну вот, я же говорила, Пантелей.

Анна Дмитриевна. Ах, это вы дочь полковника фон Ра-

бен? Простите, я ведь вас видела, не узнала. Так испугалась. Бог знает что привиделось.

Руся. Вы и нас не узнали, Анна Дмитриевна. Не сердитесь, что мы смеемся. Мы не понимаем, чего это вы так испугались.

Анна Дмитриевна. Не понимаете, и отлично! Нисколько не сержусь, хотя не вижу, что смешного? Сережи нет, пусто, где-то шумят, полна передняя женщин, солдат... Михаил Арсеньевич достаточно беспечен, разве я не знаю? Сережи нету...

Сереза. Да я здесь же, мама. А горничные всегда приходят, когда мы у дяди Мики читаем, собираемся. Что же тут страшного?

Анна Дмитриевна. Ну, довольно, довольно. Идем домой. Благодарю вас, Михаил Арсеньевич!

Дядя Мика. Если Сереза захочет, он не будет ко мне приходиться. Я не приглашаю никого.

Анна Дмитриевна. Захочет? А если я захочу, чтобы он... Чтобы он постыдился того беспокойства, которое матери доставил?

Дядя Мика. Это, право, его дело.

Финочка (*Никсу, тихо*). Все-таки не понимаю, что Анна Дмитриевна?..

Нике. Да вздор, это как на нее найдет. Ничего не знает. Всего боится. (*Громко*). Руся, пойдем. Ты без горничной, со мной. В сущности и за нами надо бы присылать. Ведь гим-

назистам по улицам ходить запрещено.

Руся. Э, чепуха. Прощай, дядя Мика, Финочка, прощай. Завтра не увидимся, нет? Ну потом.

Все друг с другом прощаются, понемногу уходят.

Анна Дмитриевна. Ипполит Васильевич, вы-то, как отец, могли бы меня понять. Ваша дочь тут же.

Вожжин. Да что вы, Анна Дмитриевна, о чем, право, так мило они танцевали...

Сереза. Мама, пойдем домой. Пойдем пожалуйста.

Дядя Мика. Спокойного сна. А мне уж, видно, придется твою дочь, Ипполит, домой везти. Вместо денщика Пантелея. Хорошо, что не поздно, успею выспаться. Позвольте, Анна Дмитриевна, я вам коридор освещу. Иди вперед, Сереза.

Сереза, Анна Дмитриевна идут к двери налево; за ними дядя Мика, которому Анна Дмитриевна что-то скоро говорит, дядя Мика пожимает плечами. Финочка и Вожжин остались. Финочка нашла свою муфту; задумалась, вдруг смеется.

Вожжин. Что ты?

Финочка. Такая смешная! И на Серезу, на Серезу! А он с ней... он милосерден.

Вожжин. Как милосерден? Кто?

Финочка (*опомнившись*). Нет, папа, я не о том... Ах какая я! Я не о том! Папочка, вот главное-то, главное! Ты не забудешь? Папочка, у меня все в душе сейчас двоятся! Че-

го хочу – сама не знаю, смею ли хотеть. Я так люблю тебя, папочка! Так люблю, так всегда любила! Ты ведь мой, папа? Мой?

Вожжин (*обнимает ее, гладит по голове*). Маленькая ты моя, родная ты моя. Солнышко мое горячее. Успокойся, детка, уж мы все устроим. Уж все по-хорошему устроится.

Финочка. Завтра ты... с мамой?

Вожжин. Поговорим, потолкуем, подумаем... Завтра, милая, завтра!

Действие третье

Меблированные комнаты средней руки, скорее приличные, диван, кушетка, между окнами (*влево*) четырехугольный обеденный стол. Прямо дверь в маленькую отгороженную переднюю и коридор, налево в другую комнату (*где Катерина Ивановна Вожжина и Финочка спят*). У стола, накрытого белой скатертью, Марфуша, горничная Вожжиных, приехавшая с ними из Саратова, перемыкает посуду. Марфуша – средних лет, но не старая, довольно приятная лицом. В переднике, вязаный платок концами назад, волосы причесаны гладко. Первый час серенького дня.

Марфуша (*возясь с посудой, ворчит, чашками гремит, очевидно, в дурном настроении. Поднимает голову, оборачивается*). Да кто там? Есть, что ли, кто? Не царапайтесь, не заперто.

Входит Матильда, горничная Ипполита Васильевича Вожжина. Она в плюшевой жакетке, в шляпе с пером, с большой бархатной муфтой; вообще – претензии столичной горничной. С мороза нос красный.

Марфа (*не узнавая*). Ах, извините, вам кого угодно? Ежели барыню, так их нет, скоро должны быть с барышней.

Матильда. Здравствуйте, Марфа Петровна, с добрым утром. От барина барышне записочка.

Марфа. Да милые мои! Да это Матильда Ивановна! А мне и ни к чему. По туалету думаю – непременно гостья. А это вот кто. Извините за беспорядок.

Матильда довольна. Здороваются за руку.

Марфа. Мне ни к чему, потому я к барину записочки носила – дальше кухни не была, а вы там не в туалете. Где ж узнать.

Матильда. Ну разве какой особенный туалет? Обычно здесь в шляпках и прилично, если, разумеется, в более далекую экскурсию.

Марфа. Ска-ажите! Ну а я, как не привыкши, так мне не до шляпок; и то печенки ноют, только бы через улицу перебраться в Питере в вашем. Углов-поворотов не найду, а мотор в тот же момент на тебя, на тебя! Уж я барышню по-серьезному просила: не посылайте вы меня с письмом. Заплатите сколько там, пусть мужик несет, мужики, говорят, тут есть такие, носящие.

Матильда. Ах да, посылные. Но я даже люблю, вместо прогулки.

Марфа. Да вы присядьте, Матильда Ивановна, барышня сейчас должны быть, они не иначе как в больнице, в ваннах в этих задержавшись.

Матильда (*сидясь*). А я вас понимаю. После провинции столичное движение – это даже опасно. Вот у нас женщину трамваем измололо, по суставчикам, по суставчикам! Так и не нашли, кто такая.

Марфа. Ах ты, милые мои! Трамвай-то, положим, и у нас есть, но чтобы до такого доходить жестокосердия, – нет, у нас этого нет.

Матильда. Везде свой обычай. Надо тоже знать.

Марфа. Вы бы жакет-то сняли, Матильда Ивановна. Да ром согреетесь. – Обычай обычаем, но человеколюбие надо иметь. – А что еще говорят, русского народу мало в Питере?

Матильда. Как так русского?

Марфа. Чухонцы больше, или из немцев. Да вот, извините, имена даже не христианские. Вас по отчеству Ивановна, а зовут, извините уж, Матильдой.

Матильда (*обидевшись*). Я сама русская. Мое крещеное имя даже нисколько не Матильда, а Матрена. Только я все по хорошим домам жила, так Матильдой называться – для господ культурнее.

Марфа. Ну скажите! Ну действительно, обычности здешние. В жизни не догадаться! Вы уж простите, Матрена Ивановна, что я вас зря Матильдой-то поставила. Ишь, господа какие у вас неумеренные, по-нашему – Мотя так куда приличнее. (*Роняет чашку.*) Ах ты, чтоб тебя!

Матильда (*подымает*). Не разбилась, только с краюшку. Что вы с посудой возитесь, Марфа Петровна? В мебелированных должна коридорная девушка быть по этому поводу. Требовать можно.

Марфуша. Потребуешь! Наша барыня скорей того с меня потребует. Ведь мы со своей посудой, барыня привыкши к

своим чашкам, так чужими брезгует. Чего свое добро здешним-то давать колотить!

Матильда. Капризная, видать, барыня.

Марфа. Капризная, капризная. (*Вздыхнув.*) Больные они, Матрена Ивановна. Жизнь их такая, без человеколюбия.

Матильда. А вы давно у них служите?

Марфа. Я-то? Вот уж не то девять, не то девятый год пойдет. Еще при вашем при барине поступила. Как поступила, пожила, тут вскоре история-то и случилась. Барышня еще невеличка была. Уехал.

Матильда. Разошедшись, значит, окончательно. А вы при барыне.

Марфа. При ей, вот сколько годов; осталась – да все и путаюсь. Разве я из выгоды из какой? Хочу отойти – не могу. Жизнь тоже довольно кромешная. А из человеколюбия единственно; смотреть тяжело – и не смотреть тяжело.

Матильда (*с любопытством*). Да у ей любовник, слышно, богатый? Из того будто и разошедшись.

Марфа. Милые вы мои! Любовник! Ну и любовник. Нашу сестру взять, барыню ли, мужику ли: если муж против тебя без внимания, с первого слова готов, и пожалуйста, и уезжаю, так чего еще? очень просто сейчас любовник, на свою же голову. При моих глазах было, слава Богу, я правду всегда скажу.

Матильда. Ну все-таки если любовник – это неприятность.

Марфа. Истинно неприятность. Теперь взять и любовника-то, Семена Спиридоныча. Разве это любовник? Ты любовник, – и держи себя по любви, скромно, благородно. Нет! Почнет это на нее халдакать, здесь ему неладно, так ему не по нем, да симпатия у него переменялась, да пьяный придет, с приятелями, – и требует неизвестно чего, – чего даже невозможно. Она, конечно, в истерику, люблю, говорит, тебя на веки вечные, а он опять же свое. Так и ведут хоровод с канителью, пока барышня не вступится.

Матильда. Ай, страм какой! А барышня-то чего между ими?

Марфа. Барышни одной Семен Спиридоныч и боится. Как вступится, за мать-то есть, он сейчас марше, два шага отступя. Бывало еще и маленькая, зиркнет на него – «не смее вы» – ну он перво как карась зашипит, – а потом тише, да за шляпу. Только и угомону.

Матильда. Скандалы, значит. Очень просто. *(Помолчав.)* А что, Марфа Петровна, слыхала я, правда ли, нет ли – намеревается барин наш к себе дочку взять?

Марфа. Кого это?

Матильда. Дочку, барышню вашу, к нам на житье. Ребенок, говорит, при скандалах, я, говорит, как отец, – не могу. Михаилу Арсеньевичу нашему раза два высказывал; наедине, понятно.

Марфа *(взволнованно)*. Да ты как это слышала? Да никогда этого и быть не могло!

Матильда. Отчего это не могло? Высказывал довольно ясно, возьму и возьму.

Марфа. Ах да милые же вы мои! Схватился когда, возьму! И никогда этого в жизни не будет! Мыслимая ли вещь? Без барышни-то? Без нее нашей барыне и голову некуда преклонить. С первого апцугу, значит, Спиридоныч ее заключет. Да барышня сама согласия не даст.

Матильда. Ну уж не знаю. Не даст, а между тем «папочка, да папочка», да «жить без тебя мне худо», и «почему тебя со мной нет» – и все такое. Тоже, понятно, мечтает.

Марфа. Много ты понимаешь, мечтает! Она об нем, это слов нет, трясется, письмо ли там, или что. Ребенок, толку нет разобрать, кто кого обидел. Может, думает – мать прогнала. Ну, однако, это-то понятие есть, об матери-то она во как! Всего навидалась! Коли рассказать тебе – Царица Небесная! Ведь барыня с чего больна? Травилась, вот как перед Истинным. Еле отходили. За его же художества, за Спиридонычевы. А барышня ничего не побоялась, прямо к нему в дом, на фабрику, за ним. Сама привезла, ей-Богу. Уже от ней не отвертится. Куда это без барышни, без Софьи Ипполитовны? Да я сама дня без нее не останусь, из человеколюбия из-за одного.

Матильда. Напрасно вы в пустяках нервируетесь, расстраиваете себя, Марфа Петровна. Вы так судите, что она не мечтает. А вот вам, собственными ушами слышала, забыла совсем: помни, говорит, папочка, обещал ты устроить, чтоб

не расставаться. Мне что, мое дело сторона, хоть бери – хоть не бери он детей, я завтра живу – послезавтра ушла. Я говорю исключительно: меня ваше непонятие раздражает.

Марфа. Сама ты в непонятиях, то тебя и раздражает. А я скажу: может, и говорила Софья Ипполитовна о чем, только не о том. Я ее мечтанья-то знаю.

Матильда (*с интересом*). Женишок, что ли, уж завелся?

Марфа. Это бы дай Боже, да где у нас? А вот мечтает она действительно, чтобы мамаша опять по-супружески к законному мужу переехала, она бы, дочь, при них, а Спиридонича, значит, гуляй душа.

Матильда (*смеется*). Ну уж вот этого-то никогдашеньки не будет! Это уж я на рекорд пойду!

Марфа. На какой такой рекорд?

Матильда. На пари, то есть. Куда ж он свою кралою денет, при жене?

Марфа. Про что это вы, Матрена Ивановна, не пойму?

Матильда. Вам, по провинциальному положению, может, и не понятно. А здесь дело обыкновенное. Анна-то Дмитриевна в каких при нем? В соержанках, очень просто, будь она хоть разбарыня. Уж мне-то она вот где сидит: поступала к двум холостым, а с течением времени выходит на обратно, сует тебе нос, надоела даже: ах, почему чашка не вытерта, ах, где три маленьких ложечки, ах, почему в коридоре пятно... ах да ах, терпения нету!

Марфа. Это как так? Милые мои! Да ужли в квартире у

него содержанка?

Матильда. Собственно не в квартире, а как бы вроде. Через площадку ейная квартира, ход, значит. Там сын у ней, гимназист. Да ей что квартира, завсе у нас околачивается, а нет – барин к ней, либо вместе куда в театр, ужинать, едут.

Марфа (*взволнованная, но и заинтересованная*). Ишь ты, батюшки! До какой низости дошел! А нам здесь и ни к чему. Обвел, значит. Постой, а барышня-то наша у вас как же? Ведь ежели такое дело – ведь на виду же?

Матильда. Она что: пришла и ушла, пока сидит – папочка да папочка... А вчерась пришла, – он со своей обедать в ресторан уехачи, она к Михаилу Арсеньевичу, у него это племянники его, барышни всякие, музыку, танцы затеяли... где ж ей что заметить? И сынок Анны Дмитриевны тут же, танцует он тоже модно.

Марфа. Как хотите, Матрена Ивановна, а только злодей он хитрый и злодей, безо всякого человеколюбия. Удивили вы меня, прямо как пришибли. Головы не соберу.

Матильда. Я понимаю, вас сразу афрапировало. Но что ж вам-то в состояние приходиться, ваше дело стороннее.

Марфа. Девятый год смотрю... И вот какие хитрые дела открываются. Довольно низкие и хитрые. Не зря я всегда на него думала, что хитрый. Тут из-за одного из-за человеколюбия плюнешь, пропади все пропадом.

Матильда. Ну, хитрость-то небольшая, кто нынче без содержанок, их нынче на всякий вкус. Вот Михаил Арсеньич у

нас – без глупостей, темпераменту он уж эдакого ленивого. Сейчас видать.

Марфа. Да как же все-таки... *(Слышен стук отворяемой из коридора двери, голоса.)* Наши пришли, ей-Богу наши! *(Роняет, потом подымает полотенце.)*

Матильда встает; быстро надела жакетку.

Входит Финочка, в меховой шляпке, и Елена Ивановна Возжжина. Худенькая, небольшого роста, быстрые, нервные движения, говорит очень скоро. Слегка поблекшая, но еще недурна. Бледная. Причесана пышно, что ей нейдет. Платье темное, не очень модное.

Елена Ивановна. Финочка, и что ты, право, опоздаем-опоздаем! Нисколько не опоздали, ну полчаса каких-нибудь! С этими извозчиками не опоздать! Тащится-тащится, а на трамвай твой есть возможность попасть? Рассуди сама! Марфуша, у тебя... *(Заметив Матильду.)* Ах, извините, вы...

Финочка *(перебивая)*. Это Матильда! Вы от папы, Матильда? Здравствуйте!

Матильда. Добрый день, барышня. Вам записочка. Велели спешно, так я уж тут подождала.

Финочка. Записка? От папы? Значит, он... Он дома? Ответ нужно? *(Берет записку, хочет распечатать.)*

Матильда. Об ответе ничего не приказывали. Я уходила – так дома были, к ним двое господ пришли по делам.

Финочка. А, хорошо. *(Читает записку.)* Хорошо, хоро-

шо. Спасибо, Матильда. Если еще застанете барина дома, скажите – хорошо, мы ждем.

Матильда. Слушаю. До свиданья, барыня; до свиданья, барышня.

Елена Ивановна (*снимала шляпку, поправляла волосы, разглядывала Матильду. Кивает головой*). До свиданья.

Матильда уходит. Марфуша за ней.

Елена Ивановна. Что это, в чем дело?

Финочка. Он пишет, мама, что опоздает часа на полтора или на два. Пришли к нему по делам. Обещал очень аккуратно, оттого и пишет.

Елена Ивановна. Ну вот вздор, какие формальности. Теперь или через час, – да когда может. Из простой вещи делается grand cas. Хотел он заехать ко мне – пожалуйста, я ничего не имею против, мы же не враги, слава Богу. Нет времени – не надо. А торжественностью такой обставлять...

Финочка. Это я, мама. Я просила, чтобы точно.

Елена Ивановна. И напрасно. Мы вот сами опоздали. Не застал бы – другой раз бы приехал. Я даже рада сейчас, что никого нет: утомляют души, полежать, отдохнуть хочется. (*Ложится на кушетку.*) Или в спальню не пойти ли? Там на кровати удобнее.

Финочка. Как хочешь, мама.

Входит Марфуша.

Марфуша, а ты яиц не сварила? Маме надо позавтракать.

Марфуша. Сейчас. На машинке поставлю. У меня здесь

еще посуда не убрана.

Выходит в спальню, потом возвращается, несколько раз приходит и уходит, иногда что-то ворчит про себя.

Финочка. Ты скорее, Марфуша. Потом некогда, гости будут. Папа приедет. Папа приедет!

Марфуша. Папаша? Вон как. Вон оно что. Ну что ж. Мало у нас гостей бывает. Барин Михаил Арсеньевич сколько разов был. Без треску, без звону...

Елена Ивановна. Чего ты опять? Каким тоном говоришь? Пожалуйста, не забывайся.

Марфуша. Есть мне время забываться. А только Питер этот ваш, как угодно, надоел. Что шляпки на всех, да трамваи по людям ездют, так на эту низость довольно наглядевшись. (*Уходит.*)

Елена Ивановна. Ужасно дерзкая. (*Смеется.*) И что она про Михаила Арсеньевича? Влюбилась в него, что ли? А он правда, симпатичен; журналист, а какой – светский!

Финочка. А он и прежде, мама, такой был?

Елена Ивановна. Какой? Светский?

Финочка. Да нет. А такой... ну, равнодушный, что ли. Ведь ты знаешь, мы дядю Мику все зовем: дядя, потерявший вкус к жизни.

Марфуша вошла.

Елена Ивановна. Неостроумно. Впрочем, я слышала о нем давно, что у него были какие-то серьезные переживания. Любил какую-то женщину... Она или изменила или что-то

слукавила, не знаю уж. Ну, он тогда ей все в лицо высказал и оставил ее. Потом вдруг получает письмо, что она умерла.

Финочка. Ах, как ужасно!

Марфуша. У всех у них одна низость. (*Ушла.*)

Елена Ивановна. Я уж забыла, но, кажется, дело в том, что она не умерла, написала, чтобы поугатать. Прилетел – а она и не думает. Ну, уж он тогда, конечно...

Финочка. Обрадовался, что жива?

Елена Ивановна. Ах, ты ничего не понимаешь. Ведь она это нарочно. Ему – потрясение сильнейшее.

Финочка. Вот странные какие люди были!

Елена Ивановна. Кто – Михаил Арсеньевич странный?

Финочка. Да, и еще я про ту женщину. Какие были странные. Даже нельзя понять.

Елена Ивановна (*мечтательно*). Тебе непонятно, а это такая естественная психология. Любила, хотела вернуть... Любя не рассуждают, не взвешивают.

Финочка. Не знаю. А только наверно дядя Мика не из-за того вкус к жизни потерял, что ему какая-то глупая женщина соврала. Наверно уж так, вообще. Он очень глубокий, мама, он все видит, все понимает. И добрый. А это хорошо, если старые... если они добрые.

Елена Ивановна. Какие пустяки! Михаил Арсеньевич старый! Скажешь тоже.

Финочка. Да ведь он почти как папа.

Елена Ивановна (*приподымается с кушетки*). А папа

твой очень постарел? Поседел, я думаю! *(Совсем встает.)*
Ну, он-то что! Не годы, – горе старит. Горе и болезнь. Я еще совсем молода, а после болезни у меня вот, на левом виске...
есть-таки седые волосы. *(Подходит к зеркалу.)*

Марфуша *(в дверях)*. Яйца готовы. Сюда, что ли, подать?

Елена Ивановна. Нет, нет. Я там. Отдохну еще кстати.
Нервы шалят. Ты идешь, Финая?

Финочка. Я не хочу.

Елена Ивановна. Ну, как хочешь. *(Уходит в спальню.)*

Финочка одна. Ходит по комнате, смотрит на часы, потом на окно. Видимо волнуется. Взяла какую-то книгу, села с ней, опять встала, опять села. Слышен, наконец, стук в дверь коридора. Финочка бросается туда, распахивает первую, вторую. Говорит что-то отцу. Кажется: «Здесь, здесь! А ты внизу раздевался?» Входят оба. Вожжсин с мороза вытирает платком усы.

Вожжсин. Так, значит, ничего, что опоздал? Вы дома? Пришли там ко мне по делу по одному, спешному. Я испугался, что засидятся, ты будешь ждать...

Финочка. Совсем ничего, папочка! Мы вернулись, мама завтракала, отдыхала. И ничего. Так я скажу ей, папочка, хорошо? Я сейчас... *(Уходит быстро в дверь налево.)*

Вожжсин некоторое время один. Осматривает комнату. Берет книгу, которую читала Финочка, перелистывает, кладет. Прохаживается медленно. Садится в кресло, о чем-то думает. Из дверей спальни выходит Елена Ивановна. Она

в том же платье, но сверху накинула довольно красивый цветной шарф с блестками.

Елена Ивановна. Ипполит Васильевич! Очень, очень рада!

Вожжсин вскакивает, они долго жмут друг другу руки, потом Вожжсин целует руку у Елены Ивановны.

Елена Ивановна *(несколько приподнято весело)*. Ну, садитесь. *(Садятся – Елена Ивановна на кушетку, Вожжсин рядом.)* Дайте на вас поглядеть. Ничего, сколько лет минуло, – и ничего, в бороде только седина, а вид здоровый. Не то что я, все худею, все худею...

Вожжин *(откашливаясь)*. Вы все нездоровы, Елена Ивановна.

Елена Ивановна. Ах, я так была больна! Не красит болезнь, не молодит. Теперь мне уж лучше, души здешние, конечно, вздор, это Фина умоляла попробовать, но все-таки... В общем, я теперь поправляюсь. Нервы у меня никуда не годятся, Ипполит Васильевич.

Вожжин. Да, еще бы... Я вполне понимаю. Вам надо серьезно отдохнуть, полечиться.

Елена Ивановна. Ах, Ипполит Васильевич, лечение лечением – но ведь так часто душа болит! Сколько пережила я, сколько ран на душе! Что ж скрывать? Я чувствую – вы меня сейчас понимаете, врагами мы никогда не были...

Вожжин. Какими же врагами, Боже сохрани...

Елена Ивановна. Да, да, и сейчас я чувствую, что меня

слушает понимающий друг. Это так отрадно, так редко мне случается испытывать эту отраду, ведь, я, в сущности, одинока... В смысле необходимости дружеского участия. Фина – ребенок. Говоришь ей – но разве она поймет глубину переживаний? О, я не жаловаться хочу, я не люблю жалоб – да и кто виноват, виноватых нет, каждый должен мужественно нести свою судьбу. Оттого уж не жалуясь, что я ни в чем, ни в чем не раскаиваюсь. Как прямо я вам сказала восемь лет тому назад, так и теперь говорю; да, я полюбила Семена Спиридоновича истинной, большой любовью, той, которая не останавливается ни перед чем, которая сама в себе носит оправдание...

Вожжин. Да, но если объект любви... То есть я хочу сказать – если с течением времени...

Елена Ивановна. При чем тут время? Разве есть время для любви? Любовь есть любовь. Она вечна и сама себя оправдывает. Время! Да больше: если б я, скажем, в минуты падения даже перестала ее, любовь, чувствовать, видеть в себе – все равно, я верила бы: в самых потаенных глубинах моей души она жива! Эта вера только и поддерживает меня, Ипполит Васильевич. Она только и дает мне силы переносить кое-как мою тяжкую, действительно тяжкую жизнь.

Вожжин. Но, однако, если даже любовь перестает как бы ощущаться...

Елена Ивановна *(не слушая)*. Тяжела моя жизнь, Ипполит, тяжела и в мелочах, в повседневности... Я – вы меня

знаете! я съеживаюсь от всего, малейшая пылинка меня уже царапает, – а тут приходится глотать кучи пыли, задыхаться, терпеть и, – если я кричу, то когда уже физически совсем истерзана, когда боль физическая...

Вожжин. Да зачем же, Господи, мучить так себя? Ведь и другие около вас должны мучиться?

Елена Ивановна *(не слушая)*. Больше скажу. Если судьба окончательным, бесповоротным образом разлучит нас, если я буду знать, что никогда уже не должна видеть того, кого полюбила – все равно! я буду верить, что любовь живет в моей душе!

Вожжин. Господи, Елена Ивановна... Лена... Бедный друг мой... Кто же станет отнимать вашу веру, если она вас поддерживает. Успокойтесь, ради Бога. Я не о том, я вообще о жизни. В жизни вы сами... то есть я хочу сказать, что вы создаете себе много внешних мучений. Для чего? Если любовь не зависит?.. То как же не подумать о спокойствии, о своем здоровье?..

Елена Ивановна. Я должна нести свой крест до конца. *(Заплакав, другим голосом.)* У Семена Спиридоныча... такой тяжелый характер! Такой тяжелый! Просто иногда не знаю, что и делать. День за днем, день за днем, истории, истории! Он меня оскорбляет... Поневоле голову теряешь. Но не могу же я... не могу же... раз я его полюбила...

Вожжин *(взяв ее за руку)*. Успокойтесь... Милый друг, успокойтесь, молю вас. Мы подумаем... Верьте, я от всего

сердца... Главное, успокойтесь.

Елена Ивановна. Спасибо, спасибо. Я спокойна. Высказалась, стало легче. Не жалейте меня, у меня есть сокровище – моя любовь. Жалости не надо. Участие мне дорого.

Вожжин. Если б я вам мог помочь...

Елена Ивановна (*улыбаясь*). Вы уже помогли тогда, давно, когда сразу поверили в мою любовь, так скоро и хорошо дали мне свободу. А теперь... такова моя судьба, кто может помочь?

Вожжин (*встал и прошелся по комнате*). Да, судьба... У всякого своя судьба... Конечно... Я так рад, Елена Ивановна, что увидел вас, что вы признали во мне друга, отнесли с доверием, открыто... Ей-Богу, рад. Теперь мне легче с вами и то обсудить, с чем к вам ехал...

Елена Ивановна. Что же это? Насчет чего? Я вам ясна, Ипполит Васильевич; я моей души от вас не скрываю. Все могу сказать вам.

Вожжин. Нет, что ж, это конечно... Нет, я насчет Финочки хотел поговорить.

Елена Ивановна (*с удивлением*). Насчет Фины? Что же насчет нее?

Вожжин. Да вот... Я слышал, гимназию она оставила...

Елена Ивановна. Ах, это пустая история какая-то вышла. Фиона же и была, кажется, виновата, – толком и не добилась я от нее ничего, – но упрямая: настояла, чтобы я ее взяла домой. Теперь у нее два учителя, прямо к выпускному

ГОТОВЯТ.

Вожжин. С учителями она плохо учится...

Елена Ивановна. Да, ужасно упрямая. Положим, возраст такой, характер ломается. Не следует обращать внимания.

Вожжин (*горячо*). Нет, следует! Нет, по-моему, на многое следует обращать внимание! (*Тише.*) Словом, я хочу сказать, жаль все-таки, девочка такая умненькая, без систематических занятий...

Елена Ивановна. Да... Ну что ж. Будет старше, будет и сама серьезнее относиться. Я же тут все больна...

Вожжин. Конечно, конечно. В том-то и дело. Отлично понимаю. Вам следует чаще путешествовать, лечиться. Вот в Крым, например.

Елена Ивановна. В Крым я думала как-нибудь. Если сложатся обстоятельства, конечно.

Вожжин. Вот-вот. (*Встает, ходит по комнате.*) А Финочку я думаю к себе взять.

Елена Ивановна. Кого?

Вожжин. Да Финочку. Дело совершенно ясное...

Елена Ивановна. Куда взять Фину?

Вожжин (*продолжая ходить, нетерпеливо*). Ах, Боже мой, к себе, чтобы она жила у меня. Надо же ей... Отдам в хорошую частную гимназию, будут подружки, среда, занятия... Потом на курсы... Надо же ей, в самом деле... Взрослая, шестнадцать лет. Пойдет на курсы.

Елена Ивановна (*машинально*). На курсы... (*Следит за ним глазами.*) На курсы...

Вожжин. Вы будете путешествовать, приезжать... Вы сами понимаете, Елена Ивановна, мы не имеем права, молодое существо начинает жить, надо создать благоприятную обстановку, дать все возможности. У меня она именно попадает в такую обстановку, жизнь будет правильная, тихая, рабочая. Да не только мы с вами – и сама Фина понимает, что те условия, в которых она до сих пор находилась... находится... что они не соответствуют... Ненормальны... Фина сама...

Елена Ивановна. Что? Что? Фина сама? Что?

Вожжин. Да где она? Ведь ясное же дело. Такое простое, естественное дело. Фина! (*Кричит.*) Фина! Поди сюда!

Из спальни быстро выходит Фина. Вожжин – посреди комнаты, увлеченный своими словами, торопливый, Елена Ивановна в непроходящем оцепенении, сидит недвижно.

Вожжин. Финочка, вот я говорю маме... Что так дольше нельзя. Ты будешь в здешнюю гимназию ходить... Потом на курсы. Помнишь, ведь ты сама?.. И уж больше мы не расстанемся.

Финочка (*просияв*). Ах, папочка! Так правда? Неужели правда? Ах, папочка!

Делает движение к нему; в эту минуту Елена Ивановна пронзительно и коротко вскрикивает, Фина кидается к ней, но останавливается.

Елена Ивановна. Ты сама? Сама? К нему жить? А я? ме-

ня одну? Мать, как собаку?.., как больную собаку?.., на курсы... нормально... а меня бросила... меня не надо... как собаку.

Фина. Мамочка, да что ты? да что ты? Как ты можешь?..

Елена Ивановна. Иди, иди, ступай! уходи! Бросай мать! Туда ей и дорога! Уходи к нему! *(Истерически кричит, падает на подушки.)*

Финочка *(бросается к ней).* Мама, мама, ты не поняла, да мама же! Да никогда я тебя не брошу! Никогда я не уйду. Ей-Богу, честное слово, я не про то, ну ей-Богу! Мама! *(Вскакивает, оборачивается к отцу, который стоит в растерянности посреди комнаты. Говорит быстро и горько)* Папа, что ты ей сказал? Зачем ты? Ведь она так поняла, что я к тебе уйду, а ее оставляю? Так поняла?

Вожжин. Фина, милая... Но я думал... Ведь как же?.. Я и думал...

Фина *(зовет).* Марфуша! Скорее! Дай капли там на столике! *(Возится с матерью, которая продолжает рыдать и что-то бессмысленно повторяет.)* Да перестань же, мама! Никуда я, никуда от тебя!

Вбегает Марфуша с каплями.

Фина *(к отцу).* Папа, теперь уходи. Лучше уйди, а я ее успокою. Иди же, папа. *(Берет его за рукав.)* Я завтра к тебе сама... А теперь не надо. Видишь, она больная, она тебя не поняла...

Вожжин *(пятясь к двери).* Я уйду. Но, Финочка, я и ду-

мал... Ей надо лечиться, путешествовать... А ты со мной. Ты сама говорила...

Фина (*остановилась, пораженная*). Папа, что? Так ты вправду? Ты – это придумал? Чтобы я ее бросила?

Вожжин. Я не говорил: бросила. Зачем сейчас же – бросила? Но ведь ты сообрази...

Фина. Чтобы я – ее, такую несчастную, на тебя переменяла? О, папа, ты не думал так, ты не хотел так, ведь я же люблю тебя, папочка, и не мог ты... (*Обрывает себя.*) Молчи, молчи, уходи! Я приду завтра. Я тебе скажу... (*Тихонько толкает его к дверям.*)

Вожжин. Ну завтра, завтра... (*Другим голосом, бодрясь.*) Только помни, я решил твердо. Я не уступлю. Тут надо действовать с разумом. Помни, ты говорила сама.

Фина. Уходи! (*Почти кричит.*) О Господи, ну что ж мне делать, ну что ж мне делать?

Вожжин уходит. Фина опять бросается к матери, с которой возилась в это время Марфуша. Рыданья тише.

Фина (*нарочно весело*). Мамуся, родная, и тебе не стыдно? Ну разве можно так? Ну посмотри на меня... Тебе не стыдно было такое вообразить? Что я от тебя уйду? Папочку только напугала. Он и не думал...

Елена Ивановна (*слабо*). Что ж... и отлично... и живи у него...

Фина. Да глупости! Ведь глупости же! Ну как это я у него буду жить? Я у него – а ты неизвестно где? Разве можно?

Марфуша (*ворчливо*). И очень просто, что дело невозможное.

Фина. Я рассержусь, мамочка, если ты мне не поверишь. Папа совсем не о том, чтобы я тебя бросила.

Марфуша (*так же, прибирая лекарства*). Ну еще о чем же!

Елена Ивановна (*жалобно и сердито*). Однако, ты сама... Он говорит, ты сама недовольна, ты любишь его, хотела бы не расставаться. Ну и не расставайся... ну и сделай милость, только не лги, и сознавай, что ты...

Фина. Я рассержусь, мама! (*Помолчав.*) Ты успокоилась? Так вот что. Никогда тебя бросать не хотела. А это правда... Я папочку люблю. Я верю, что он... что ты... (*Горько.*) Ну, почему я знаю? Разве я могу все знать? Я думала, что вы как-нибудь... что папочка как-нибудь придумает... и всем будет хорошо, и никто не будет расставаться. Вот! (*Помолчав.*) Папочка может придумать. А ты его сразу напугала.

Елена Ивановна (*приподнялась на подушках, слабо улыбнулась, вздохнула*). Глупенькая девочка! Ты забываешь меня, мою жизнь, мой крест... Мы не знаем своей судьбы, нельзя ничего предрешать, но пока есть силы – надо крест нести. Ипполит Васильевич это понимает. Я обманулась в нем, он так грубо предложил это переселение... насчет тебя... ах, не могу! (*Нюхает что-то, успокаивается.*) Но это он понимает: ни для кого в мире... даже для тебя... я не имею права сейчас отказаться... Съехаться опять с твоим от-

цом. Разве это возможно?

Марфуша. Да уж как перед Истинным, что нет никакой возможности. Я слуга, да и то понимаю. Из одного из человеколюбия слушать странно.

Елена Ивановна. Что странно? Что такое? Если понимаешь, тем лучше. Тебя не спрашивают.

Марфуша. Да уж спрашивают ли, нет ли, а я так понимаю, что барин Ипполит Васильевич и в уме не держит побарышнину, чтобы такое предложение. Барышне-то где разобрать, а небось у него в доме, у самого-то, уже заведено. Жена не жена, а с ноги не скинешь.

Елена Ивановна. Что? Что? Какая жена? В доме?

Марфуша. Да уж такая. Глядеть вчуже тошно.

Фина. Брось ее, мама. Ворчит и понять нельзя.

Елена Ивановна (*в волнении*). Нет, нет, это что-то новенькое. Марфа, сейчас же говори! Сплетни какие-нибудь?

Марфуша. Нашли сплетницу! Девятый год служу. И бояться мне нечего. Дело мне, тоже!

Елена Ивановна. Будешь ты говорить толком?

Марфуша. И говорить нечего. Завел и завел барыню, сколько уж годов, дверь в дверь квартира, по-семейному. Людям ртов не завяжешь. Барышня сколько разов ее у папашки видали, да им, понятно, ни к чему. Вот и все.

Елена Ивановна (*неестественно громко хохочет*). Прекрасно! Прекрасно! Любовь, значит? Скрытничек, Ипполит Васильевич!

Марфуша. Любовь! Любовь! Довольно я на низость-то ихнюю к нашей сестре нагладевшись. Так путаются, вот те и любовь. А врать-то...

Финочка подскочила к Марфе, с силой схватила ее за плечи, та выронила на пол подушку, полотенце, еще что-то, что хотела нести в спальню, и охнула.

Финочка. Ты не смеешь! Не смеешь при мне лгать так. Это все лганье, лганье! Я тебя вон вышвырну... Вон! вон! *(Выталкивает ее за дверь и хлопает дверью.)*

Елена Ивановна *(продолжает злобно хохотать; прохаживается).* Скажите, пожалуйста! За что ты ее? Почему «лганье»? Очень похоже на правду. Очень, очень.

Фина *(мрачно).* Мама, я никому не позволю. И ты не смей. Не тронь папу! Это неправда, лганье, лганье грязное, не тронь!

Елена Ивановна. Ты дурочка, больше ничего! Ха-ха-ха! Наконец, он свободен, его дело! Но я его за то виню – наглость какая! молоденькую дочь к себе требовать, жизнь будет нормальная у него, на курсы... Ступай, ступай, иди к своему папочке, он тебе и мамашу новую приготовил. Эта – больная, скучная, может, та будет повеселее. Пораскинь умом – да и выбери!

Фина стремительно выбегает в спальню. Одну минуту Елена Ивановна одна.

Куда ты? Нет, наглость, наглость какая! Возьму к себе! Подходящие условия! Прекрасно!

Фина быстро выходит из спальни, на ней меховая шапочка, в руках большая муфта, которую она прижимает к себе.

Что это, Фина? Куда ты? Я тебя не пущу!

Фина. Непустишь? *(Спокойно.)* Нет, я пойду. Ты не смеешь повторять лжи. Я докажу тебе, что не смеешь. Пойду к нему, сама скажу, и пусть он сам тебе скажет. Сейчас же, сейчас же, чтобы ты ни минутки больше не смела этого повторять!

Елена Ивановна *(в испуге)*. Фина! Фина!

Фина *(остановившись у двери)*. Ты не бойся, я у него не останусь. Никогда тебя не покину, и не думала. Ты мое слово знаешь. А сейчас я должна. *(Уходит.)*

Елена Ивановна. Фина! Господи! О, Господи, и тут крест. Марфуша! Марфуша!

Действие четвертое

Комната действия 1-го, большая гостиная в квартире Вожжина. Входят одновременно Сережа, сын Анны Дмитриевны, и Руся. Сережа из левой двери в залу, Руся – из приемной и передней. Руся в гимназической форме, у нее связка книг.

Сережа. Ах, Руся! Вы куда это? К дяде Мике?

Руся. Конечно, к дяде. Необходимо его видеть, на полчаса. А вы тоже к нему?

Сережа. Нет. То есть я хотела зайти, мне тоже надо. А сейчас искал Ипполита Васильевича, мама послала узнать, не вернулся ли. Не вернулся еще. Какие это у вас книги?

Руся (*бросая книги на стол*). Ах, вздор! Гимназические. Никогда не беру, а сегодня точно назло. И таскаюсь с ними. Из гимназии пошла к Борису, потом к Пете в переплетную, – и вот все с этими «Краевичами».

Сережа. А знаете, мы хоть и зовем гимназические книги «Краевичами», однако я иногда слежу по ним... для связности... для последовательности.

Руся. Добьетесь вы связности! Всякая брошюрка лучше наших учебников. Нет, Сережа, вы оппортунист. Или... еще огромное скажу: пантеист какой-то житейский. Все благо, все на потребу, вплоть до краевичей.

Сергея (*пожимая плечами*). А у вас гимназическое ребячество. Бунт против... учебников. Подумайте!

Руся. Нет, это вы подумайте, мудрец! Ваша терпимость, всеядность, меня прямо пугает. Дело – в выборе. Ведь всегда – дело в выборе! А вы сплошь готовы благословлять.

Сергея. Как несправедливо!

Руся. Ну конечно несправедливо!

Сергея. Вовсе я не такой.

Руся. Ну, конечно, не совсем такой. Я преувеличиваю, чтобы оттенить. Я огорчаюсь.

Сергея. Огорчаетесь? Руся, ну право же я не такой. Вы не знаете, я ужасный буйник. Я больше всех ненавижу это старое общее устройство, нелепость жизни, косность идиотскую, стариковскую. Власть ихнюю над жизнью. А только я...

Руся (*усаживаясь на диван, с интересом*). А только вы – что?

Сергея. Я сдерживаюсь. Это силы копить. Ну что бы я сейчас начал буянить против гимназии, против мамы, против всего-всего устройства? – ведь все ложно, если не с исторической точки зрения смотреть. Ну, и сломался бы я, как глупый карандаш. А уж если остриться, – пусть железо острится.

Руся. Пожалуй, правда. Только мы не умеем. Смешной вы, Сергей. Понять, как разумнее – ну, это так. А разве можно вытерпеть? Да никаких сил не хватит. Это у вас такое

хладнокровие, а мы все – нет. Мы не умеем.

Сереза. Где там хладнокровие. Я стараюсь, я хочу сдерживаться, – а тоже не всегда умею. Отлично понимаю: собрания, Зеленое Кольцо наше – ведь это лаборатория; не жизнь – подготовка при закрытых дверях; на улицу-то еще не с чем идти. И надо спокойно. А я и на собраниях не могу, весь так и киплю, ужас. Ребячливые, легкомысленные... Беспечные. На ногах при этом не стоим. На чужой счет живем.

Руся. Ну, что мы на чужой счет до сих пор живем, это уж так устроено подло.

Сереза. Взять бы это ихнее устройство, взять его, как есть, стать на него крепко обеими ногами, – вот там, под ногами, ему место! Будет от чего оттолкнуться если прыгать. Эдак оно и не ложное. Ведь для старых, для вчера – оно не ложное было. Только для нас... нам нельзя в нем жить.

Руся. Как трудно все, Сереза. Вот вы говорите – лаборатория, двери запирать... Это так, да ведь все равно живем, все равно все есть, само лезет на нас. Рассуждай не рассуждай. Иные наши, – вы знаете: сначала ничего, а глядь, – перемололо.

Сереза. Вместе помогать будем, кому нужно.

Руся. Рассуждения не помогают.

Сереза. Не рассуждения. Нет, если. обстоятельства...

Руся (*перебивает*). Так приспособляться к обстоятельствам?

Сереза. Нет! нет! Обстоятельства к себе приспособлять.

Руся (*подумав*). А это не... не может быть грешно?

Сереза. Вы насчет старых?

Руся. Да... и насчет них.

Сереза. Не может. Потому что мы к ним с милосердием.

Они нас не понимают, – а мы их пойдем, и уж всегда с милосердием. (*Помолчав.*) А все-таки иной раз трудно жить. И ничего-то, ничего нельзя так сделать, чтобы уж совсем было хорошо, со всех сторон хорошо! Перепортили жизнь. А тут еще сдерживайся. Вам, Руся, я уже все открыто говорю.

Руся. Я знаю, я верю.

Сереза. Не могу не открыто. Я со многими из наших близок, а вы все-таки... вы для меня... веселье всех. Вот еще так весело бывает, когда летом, после большого-большого дождя, выйдешь – и вдруг радуга прозрачная. Вы, Руся, как радуга. (*Помолчав.*) Вот вы какая.

Руся (*смеется*). Радуга!

Сереза. Веселая. И еще волосы у вас весело завиваются, колечки такие рыжеватенькие на висках. Помните, на даче, на теннисе, как они завивались?

Руся (*смеется*). Там от сырости. Что ж в них веселого?

Сереза. Я сам не знаю. А ужасно веселые. Они, должно быть, мягкие-мягкие? (*Садится рядом с нею на диван.*)

Руся (*немного отодвигается*). Не угадали, прежесткие. Попробуйте.

Сереза (*касается слегка ее волос*). Правда. Но это ничего. Все-таки приятные. (*Помолчав.*) А поцеловать их можно,

Руся? Мне кажется, я в вас влюблен. Уж давно.

Руся. И я, кажется... Не слишком давно, а все-таки...
(Наклоняет к нему голову.)

Сереза тихонько целует ее в висок, потом они остаются рядом, близко, голова к голове, держась за руки. Молчат.

Сереза. А как вы думаете, Руся, можем мы потом, после, когда-нибудь, пожениться?

Руся (подумав, серьезно). Я думаю, потом когда-нибудь можем. Только сейчас...

Сереза. Ну, сейчас и не стоит об этом, я вообще спросил, а сейчас и так радость. Руся, вы радуга моя. Как же не радость?

Руся (слегка отодвинувшись). Вот-вот, это я и говорю всегда, ужасная радость! Ах, Сереза! Милый Сереза! (Сама поцеловала его в голову и встала.) Мы ведь не обманываем себя, мы ведь отлично знаем, что все это... ну любовь, ну брак, ну семья, ну дети, – вообще все это, – страшно важно! безумно важно! огромно важно! И... (смеется) и как-то сейчас не очень важно. То есть некогда про это.

Сереза. Да, про это потом. Это должно устроиться. Только бы не так, как у них. Очень уж плохо. Да так мы и не можем.

Руся. Насмотрелись!

Сереза. Надо, Руся, милосердно.

Руся. Надо, надо! Вечно это «надо»! Я знаю, что надо! А когда старое, чужое, сейчас вот загрызает, перемалывает...

Ну, ну, молчи, я не о себе... Я о Финочке, например. Как же с ней-то будет?

Серезжа. Да, я об этом, о Финочке, тоже думал вчера. Вы с Никсом говорили?

Руся. Говорили.

Серезжа. Помогать придется. Ничего, она сильная.

Руся. Непременно помогать. Уж глядеть нечего; как выйдет.

Из коридора голос Анны Дмитриевны: «Серезжа! Серезжа!» Серезжа. Это мама. Сама идет.

Руся. Ну, а я ушла. Я ведь к дяде Мике. Пойдем, Серезжа? Серезжа. Я приду. Сейчас. Я ей только скажу...

Руся убегает в дверь направо, входит Анна Дмитриевна, расстроенная, взволнованная.

Анна Дмитриевна. Ты здесь, Серезжа? Я жду, жду... Где же Ипполит Васильевич?

Серезжа. Мама, он еще не приезжал.

Анна Дмитриевна. Так почему же ты не пришел мне сказать? Ведь я тебя определенно просила: если Ипполит Васильевич не вернулся, ты...

Входит Ипполит Васильевич Вожжин (*из двери в приемную и прихожую*); видно, только что с улицы.

Анна Дмитриевна. Да вот он! Ипполит Васильевич! Вы дома были?

Вожжин. Дома? Как дома?

Анна Дмитриевна. Господи, ну да откуда вы?

Вожжин. Откуда я?

Анна Дмитриевна. Что с вами? Я спрашиваю, вы сейчас приехали?

Вожжин. Да, на автомобиле. То есть туда, а оттуда пешком.

Сережа ушел тихо к дяде Мике.

Анна Дмитриевна. Ну хорошо. Ничего. Вы расстроены чем-нибудь? Или нет? Ипполит, мне нужно вам сказать несколько слов.

Вожжин. Несколько слов. А если... потом?

Анна Дмитриевна. Нет, ради Бога! Я не могу. Мне тяжело. Я так ждала вас. Ради Бога!

Вожжин (*вздыхает, вытирает лоб платком, садится в кресло*). Ну что ж, Анета. Если непременно нужно... Я готов.

Анна Дмитриевна (*садится на диван, где сидела Руся*). Вы прямой человек, Ипполит, вы не будете лгать... Скажите: что происходит?

Вожжин. Что происходит?

Анна Дмитриевна. Ну да, я должна слышать от вас, а не Бог знает откуда, я должна знать первая. Уж это-то я заслужила. Правда ли, что вы хотите сойтись с вашей женой?

Вожжин. Кто говорил? Какая чепуха!

Анна Дмитриевна. Значит, неправда?

Вожжин. Да моя жена сама не захочет. Ты же знаешь, она любит другого. Она сама мне еще сегодня говорила, как любит и никогда не разлюбит. Я вот только что от нее.

Анна Дмитриевна. Только что от нее?

Вожжин. Ну да, что ж тут такого? Мне было необходимо. Ты знаешь, у нас дочь. *(Встал, прошелся.)* И я ее горячо люблю. Если говорить серьезно, так я скажу: я ее решил взять к себе. Твердо решил!

Анна Дмитриевна. Ну, это-то меня не касается. Вы, конечно, должны взять к себе своего ребенка, если находите, что нужно.

Вожжин. То есть видишь ли, Анеточка... Ты поверь, я сам хотел сказать тебе, я бы непременно сам начал этот разговор...

Анна Дмитриевна. Сядьте, Ипполит, я не могу, когда вы так по комнате...

Вожжин. Ты поймешь, милая, у тебя свой ребенок. Там невозможно ее оставить. Это такая обстановка, – вообразить нельзя. Что-то чудовищное! Девочка сама измучена. Словом – это решено. Но я не хотел тебе говорить, пока идут осложнения. Не хотел попусту тревожить. Признаюсь, может, и от слабости. Я и так весь измучен. А тут... Меня бы окончательно убило, если б ты не поняла.

Анна Дмитриевна. Я вот теперь что-то не понимаю. Вы говорите – осложнения?

Вожжин. Да. Мать с первого слова в истерику, девочка растревожена, словом – нелегко! Я решил, она там не останется, я обязан ее взять, обязан! но – нелегко. А потом вот ты...

Анна Дмитриевна. Что же я? Господи, Ипполит Васильевич, вы меня пугаете...

Вожжин (*вскочил было – опять сел*). А то, что... Впрочем, не стоит об этом. Лучше потом поговорим. Успеется.

Анна Дмитриевна (*кратко*). За что вы, Ипполит, меня не уважаете?

Вожжин. Я не уважаю, я? Я больше чем уважаю. Я вам докажу. Прямо и просто говорю: мы должны расстаться.

Анна Дмитриевна (*кратко*). Вы меня разлюбили?

Вожжин. При чем тут разлюбил – не разлюбил? При чем? Но если у меня в доме будет взрослая дочь... Я должен посвятить ей всю жизнь. Должен охранять ее. Девочка такая чуткая, деликатная. Я не имею права... Анета, пойми же, я сам глубоко страдаю, мне нелегко. Но пойми, Анета...

Анна Дмитриевна. За что? За что? Я вам жизнь отдала. За что вы меня оскорбляете?

Вожжин (*встает с кресла, садится рядом с ней на диван, обнимает ее*). Анета, Анета...

Из дверей (в приемную и прихожую) вошла Финочка, тихо остановилась у края ширм, смотрит, не движется, прижимая к себе муфту.

Вожжин. Разве я не ценил? не понимал? не чувствовал, Анета? Я был одинок, ты дала мне женскую ласку, участие, ты согрела меня своей кроткой любовью... (*Целует ее.*)

Анна Дмитриевна (*слабо*). Ипполит... Ипполит...

Вожжин. Ты была моей звездочкой ясной в ночи... во

мраке... Звездочкой... У меня привязчивая душа, благодарная. Я страдаю, ты же видишь. Но ради дочери я должен с тобою расстаться. Если долг заговорил... могу ли я не пожертвовать личной жизнью, тем уютом, теплом, за которые я тебе вечно благодарен... Дорогая...

Анна Дмитриевна (*тихо плачет*). Бог с вами, Ипполит Васильевич. После всего, после всего... И чем я вам помешала? Нет, верно, с женой хотите сойтись. Ну, и Бог с вами...

Вожжин. Клянусь тебе всем святым! Да как бы я мог? Дорогая, пойми же, поверь...

Анна Дмитриевна. Что ж верить – не верить. Просто я вам не нужна стала. Была нужна, а теперь не нужна. Помните, вы сами... сами хотели... Я всю жизнь отдала... Бог вам судья, Ипполит... (*Встала, закрывает лицо платком.*)

Вожжин. Анета, Анета...

Анна Дмитриевна. Бог вам судья! (*Убегает налево, не оглядываясь.*)

Вожжин. Нет, я так не могу! Анета! Анета! (*Последние слова почти кричит и быстро уходит за Анной Дмитриевной, в ту же дверь налево.*)

Финочка, стоявшая все время без движения, делает теперь несколько медленных шагов вперед и останавливается в той же позе посередине комнаты, лицом к двери, куда ушли Анна Дмитриевна и отец. Приотворяется правая дверь из комнат дяди Мики. Встревоженное личико Руси выглядывает оттуда. Заметив неподвижную Фину одну, Руся поспешно

входит, затворив за собой дверь.

Руся (*подходя*). Фина, это ты? А кто это тут кричал?

Фина молчит и не оборачивается. Руся берет ее за плечи, старается повернуть к себе, заглядывает в лицо.

Руся. Фина, да ты меня слышишь? Да кто тут был? Папа твой?

Фина молчит.

Иди сюда, пойдем, сядь. (*Ведет ее к дивану, обняв.*) На, выпей воды. Пей, слышишь? Пей сейчас! Дай мне сюда муфту. Положи ее. (*Берет у Фины муфту, из нее тяжело падает на ковер револьвер.*) А, вот еще что! (*Наклоняется, подымает.*) Не бойся, не бойся, отнимать не стану, я его тут, на стол положу. Если ты до этого дошла... до такого падения... то я себя унижать не стану. Отнимать. Насильничать. Пожалуйста! Делайте с этой прелестью что угодно. Того и стоите.

Фина падает головой в подушку и начинает плакать, сперва тихо, потом громче.

Руся (*ждет, смотрит на нее*). Отревелась? Нет? Выпей еще воды. Пей, говорят тебе! Можешь теперь отвечать? Ты, должно быть, только что вошла? Видела что-нибудь? Папу своего с Анной Дмитриевной? Разговор какой-нибудь подслушала?

Фина. Я не... подслушивала... я хотела...

Руся. А револьвер зачем тащила? Для кого? Ну, отвечай!

Фина. Это мамин... так... я сама не знаю... я так бежала... папа был у нас... потом про него такую неправду... Я

побежала, хотела, чтоб он сам сказал, что он... А он... Я и не успела.

Руся. Ну, ладно. Нетрудно догадаться. Господи, как мне тебя жалко! Господи, какая ты дура! И какая ты несчастная!

Фина (*выпрямляется*). Не нужно твоих сожалений. Плохо ты меня знаешь. Не нужно мне никого. Я пойду.

Руся (*удерживая ее*). Господи, как глупа! Ну, куда ты? Воображает, что опомнилась. Воображает, что надо гордо! Нет, ты не только дура, – ты злая, грубая эгоистка; если кого любишь – так только одну себя, а только одну себя любить – грех, понимаешь – грех; глупость и грех.

Фина смотрит на нее молча.

Руся. Ну что ты на меня глядишь? Я груба – потому что ты грубая, глупая идиотка; и потому что я сержусь. Мы давно о тебе думаем. Я не рассуждать с тобою хочу, – сразу никого не вразумишь, какие рассуждения! Я помогать хочу. Вон ты уже револьвер таскаешь. Помогать мы хотим.

Фина. Как же помогать? (*Вспыхнув.*) Тут нельзя помочь, никто не может помочь! Никто не может сделать, чтобы не было, раз есть... Чтоб я... чтоб мамочка... чтоб папочка...

Руся (*сердито передразнивая*). Чтоб мамочка... Чтоб папочка... Эх ты! Да никто и не желает так сделать, чтобы для твоего каприза все по твоей дудке плясали. А тебе помочь, обстоятельства к тебе приспособить... это нужно. Мы о тебе думали. Ты одна не выкарабкаешься. Постой. Я Сережу позову.

Фина. Сережу! Ах, нет, нет, не Сережу. Не надо Сережу!

Руся. Видишь, какая ты бедная. Ты сообрази, за что же ты Сережу?.. Ну с твоей же собственной, глупой, точки зрения сообрази, – он-то чем виноват? Он ведь, – это вроде тебя же с твоей мамой; только он умнее, он милосердный.

Фина. Руся, да, пускай; но это когда рассуждать, а ведь я просто люблю... обоих любила страшно! А если так страшно любишь... тогда уж нет милосердия.

Руся (*задумчиво*). Я понимаю. Тогда трудно быть хорошим. Если очень страшно любишь – хочется, чтобы те жили по-твоему, любили по-твоему – и только кого сам любишь, – и еще чтобы с тобой они вечно были. Чтоб уж без всякой свободы. Я понимаю. А только это грех: так страшно любить. Нехорошо.

Фина. Ну и пусть грех.

Руся. Нет, не пусть. И мы уж не такие... Мы уж так не можем любить. Такой любовью и друг друга страшно любить... А тех, ну больших, родных, – мы уж совсем так не можем теперь, без милосердия. Тебе это кажется только, и ты...

Фина (*опять плачет*). Нет, не кажется... Господи! И куда мне деваться? Куда мне деваться?

Руся. Вот, я знала, не стоит говорить. Помогать тебе надо. Мы придумали одно... Ты верить будешь?

Фина. Я уж верю. То есть всем вам. Вам только сейчас и верю. Руся, не оставляй меня. Ты не думай, я сильная. Я вот теперь только... Сразу на меня... Я сильная.

Руся. А про Сережу как напрасно! Я его сейчас позову. *(Говорит скоро.)* Fiна, если б мы без милосердия, – мы бы все сгорели. У всех что-нибудь. У меня мама художница с настроениями *(ну какая там художница!)*, папа – «общественный деятель». И у обоих свои привязанности. Что за радость, что вместе остаются, ведь они от косности. Ну вот... А я не сержусь на них. И люблю очень. Им ведь ничего не осталось, нашей жизнью мы им не дадим распоряжаться, – ну и пусть в своей как могут, пусть любят с Богом кого нравится. А ты у папы хочешь последнее отнять, насильно; обвиняешь. За что? Чем он мешает?

Fiна. Я ничего не хочу. Я сама уж не знаю, чего хочу.

Руся. И с мамой уехать тебе тоже нельзя. Одной нельзя. Против себя грех. Ты не справишься одна. Погоди, вот Сережа.

Идет к Сереже, вышедшему из дверей дяди Мики, навстречу, горячо ему говорит что-то. Вместе медленно идут к Fiне. Сережа серьезен, кивает головой.

Сережа *(подойдя)*. Милая Fiна, ну милая, ну ничего.

Fiна *(тихонько)*. Сережа, а я тут вас не хотела... Руся правду говорит, я глупая. Простите.

Сережа *(целует ее, садится рядом)*. Да ничего. Это всегда. Знаете, у нас у всех – то есть я про Зеленое Кольцо, – у всех что-нибудь. Ну справляемся кое-как. Мешают старые. А мы зависим. И любим, да и на своих ногах не стоим.

Руся. Вы, Сережа, не говорите с ней, вы лучше так поси-

дите, пусть она успокоится. А я сейчас, сию минутку. Очень важно! (*Убегает к дяде Мике.*)

Сереза (*тихонько гладит Фину по голове*). Главное – ты своей маме еще нужна, Финочка, вот главная трудность. Но ты не бойся. Не бойся, мы придумаем. Мы тебе поможем.

Фина (*тихо*). Я буду сильная.

Сереза. Да, тебе вот только сейчас помощь нужна. Вот только теперь – одна не выкарабкаешься. (*Помолчав.*) А папу прости, навеки прости. Мы их всегда прощаем.

Фина (*глубоко вздыхает*). Когда я понимаю – так легче.

Сереза. Ну вот, милая, прости.

Фина (*опять вздыхает*). Жить мне худо, Сереза. Я и прошу, как же не простить, если вдруг понимаешь, вдруг жалко? – нельзя не простить, – ну, а все-таки... Вот уеду опять с мамой, и вот... Был у меня папочка, я верила... уж он все знает, уж он придумает, и всем будет хорошо. А теперь как же?

Сереза. Ничего они для нас не могут придумать. Ничего! Скорей мы для них. Они, если добрые, – так робкие, а если злые – так глупые. Хорошо, что ты уж это узнала теперь. (*Подумав.*) Один только и есть, кажется, – дядя Мика: не глупый, – и не злой.

Финочка. Ах, не злой! Он добрый. Он такой, такой...

В это время входит Руся, за ней, довольно медленно, идет дядя Мика.

Дядя Мика (*Русе*). Это естественная трагедия, Руся. Вы

бы их между собой переживали.

Руся. Мы, дядя, так и хотим. Но если сейчас ты нужен? если без тебя, вот сейчас, никак нельзя?

Дядя Мика (*пожимая плечами*). Не могу я отнестись серьезно к тому, что ты мне наболтала. Есть предел ребячествам. Да, признаться, не верю, чтобы и вы все могли серьезно...

Руся. Ты ли это, дядя Мика? Ты – и вдруг не понимаешь! Ну, хорошо, хорошо, поговорим.

Подходят ближе.

Фина (*встает и вдруг бросается к дяде Мике*). Ах, дядя Мика! Родной, милый дядя Мика!

Дядя Мика (*неловко и нежно обнимает ее*). Ну что, идеалисточка вы провинциальная? Не унывайте. Всякое знание ко благу. А кое в чем вы жизнь-то лучших ваших друзей Зеленых знаете, я убежден. Вы трезвее, старше, проще. Они такое могут придумать... Верьте им, да не очень.

Финочка (*серьезно*). Нет, очень верю. Нет, я сама как они. Только я все была одна...

Дядя Мика. Не угодно ли? Радуйтесь! Уж вы ей тут наболтать, пожалуй, успели? (*Заметив револьвер.*) А это чья же игрушка?

Руся (*берет у него револьвер, прячет в Финину муфту*). Ничья. Тебе подарим, когда попросишь, – вдруг обед скверно приготовят?

Дядя Мика. А пожалуй, обедать-то пора.

Фина. Дядя Мика, отвезите меня к маме. Вы с мамой так хорошо умеете... А папу я не могу сейчас видеть. Я спокойна. Я успокоилась. Но сейчас не хочу.

Дядя Мика. Что ж, хорошо, поедем. Который только час?

Отходит немного в сторону, к часам. Руся сказала несколько слов Сереже, который пошел за дядей Микой, а сама осталась с Финой и тихо и горячо говорит с ней.

Сережа. Дядя, вам Руся говорила насчет того, что мы хотим? Насчет Финочки?

Дядя Мика *(смеется)*. Да опомнитесь, Сережа! Ведь это же Бог знает что!

Сережа *(серьезно)*. Мы и раньше думали, говорили. А теперь вы сами видите, этого не обойти, если ей помогать. Реально помогать.

Дядя Мика *(смеется)*. Реально, реально! Какая же это реальность? Чтобы я на Финочке – женился! Ведь это курам на смех. Жениться на Финочке? Вы хотите помогать, а я буду жениться?

Сережа *(так же серьезно)*. Не настоящим же браком! Ведь ясно же! Внешняя жизнь требует. Разве мы ее такой сделали? Разве мы ее так перековеркали, что нам шагу сейчас ступить некуда? Только бы на свете Божий выйти, только бы сохранить себя, а уж когда мы будем жить – так не будет! Так не будет!

Дядя Мика. О, Господи! Вот возня! Ну как растолковать,

что это не шутки – раз, и нелепость – два? Мне жениться на Финочке! Да со стороны посмотреть – это водевиль какой-то!

Сереза (*с горьким укором*). Дядя, дядя! Водевиль! Трагедия это, а не водевиль. Мы барахтаемся, как умеем – и мы выкарабкаемся! Наша жизнь впереди. А сейчас – помогите. Для Фины сейчас – это возможность жить дальше. С вашей помощью, не одна, стоя на своих ногах, – Фиνα легко справится с матерью. Мать будет жить у нее, здесь, а не она у матери. Ипполит Васильевич успокоится. Ах, дядя, все это вы лучше нас видите. Стоит говорить!

Дядя Мика. Практично выдумали, как по писаному.

Сереза. Ничего и нового тут нет. В шестидесятых годах такие же браки случались, помните? Чтобы обстоятельства победить, из тупика выйти, чтобы ехать учиться, помните? Фине нельзя не помочь, она ценная, она будет сильная. Вам же все равно. И вас мы ни в чем не обманываем, видите – как оно есть.

Дядя Мика. Ну и вздор! Ну и вздор! Даже любопытно, до чего вы дойдете! Подумали бы, ведь она вырастет, вдруг влюбится, по-настоящему замуж захочет? Тогда что?

Сереза (*пожимая плечами*). Дадите ей развод, это легко теперь. Послушайте, дядя: как честный человек – я бы сам на ней женился, если б на своих ногах стоял. Сейчас вы один так счастливо подходите.

Дядя Мика (*смеется*). Да, я счастливое обстоятельство!

Вот так распорядились со мною! Придумали! (*Смеется, делает несколько шагов вперед.*)

Фина идет к нему. Руся за нею.

Фина. Дядя Мика. Она мне говорит такое гтрчнное. Я понимаю, но я же вижу – странное. И я не хочу, дядя Мика, я ни за что не хочу, если вам непонятно, если вы боитесь... Я не хочу. Ах, Господи, я точно во сне сейчас.

Руся. Да ничего он на свете не боится. И прекрасно понимает.

Дядя Мика. Ребята, дайте вы ей опомниться. И сами сначала подумайте.

Фина. Я ни за что, дядя Мика, ни за что, если вы не сами... Если насильно. Не хочу, не хочу и говорить. Мы должны с милосердием.

Дядя Мика. Э, нет, дорогие мои! Знаю я это ваше милосердие! Со мной уж пожалуйста, со мной можно и без милосердия.

Руся. Конечно, дядя, ведь ты совсем отдельный! Ты наша книга – сам говорил. А теперь нам и переплет понадобился.

Сережа. Я понимаю, это не совсем... не вполне так... как надо бы... Но ведь ничего-ничего в жизни нельзя сделать, чтобы вполне, чтобы со всех сторон было хорошо, до конца! Не мы жизнь перековеркали; надо же нам пока вывертываться. После... Когда новая будет жизнь – после уж все будет по-иному. Все по-иному!

Дядя Мика. Ну, что там – после. А теперь, значит, по-

средством меня вывертываться?

Руся (*кричит*). Да если тебе все равно?

Фина (*взволнованно*). Нет, я вижу, ему не все равно. Нет, дядя Мика, не надо, пусть не надо, может, мы неверно все...

Руся. Ах, молчи, пожалуйста. Неверно!

Дядя Мика. Финочка, вы милая, не преувеличивайте. Не торопитесь. Если я кого-нибудь еще на свете... к кому-нибудь отношусь хорошо, с любопытством, с живым интересом, – так это именно к вам ко всем, к вашему Кольцу Зеленому. К будущим. К идущим. Что выйдет у вас – не знаю, а глядеть любопытно. Я не отвильтну, если действительно вам занадоблюсь. Только теперь подумать надо, не сгоряча, не кое-как. Хорошенько подумайте. Все-таки вы – ребята.

Руся. Конечно, дядя. Мы сойдемся завтра все вместе, обсудим... (*С детским восторгом.*) Как хорошо дядя! Какие мы собрания Кольца у вас с Финочкой будем устраивать! Как всем нам будет славно, свободно, весело, надежно! А кого Финочка любит – тех успокоит.

Дядя Мика (*улыбаясь*). Ну посмотрим, посмотрим. Это все выяснится. А теперь, Финочка, не пора ли? я бы вас к маме отвез.

Входит Матильда.

Матильда. Обед прикажете подавать? Барин Ипполит Васильевич сказать прислали, они к обеду не будут.

Дядя Мика. Да, вот обед... Восемь часов.

Руся (*перебивая*). Матильда, Михаил Арсеньевич тоже

сейчас уедет. А обед все-таки подавайте, мы с Сережей останемся. Домой уж не успею.

Матильда уходит.

Дядя Мика. Приятно вы мной распоряжаетесь! Где же мне обедать?

Фина. Мы с мамочкой, дядя Мика. Чего-нибудь поедем.

Дядя Мика. Чего-нибудь! Ну, да ладно. Назвался груздем – лез в зеленый кузов. Поедмте, Финочка! Маму вашу еще придется успокаивать! Это, положим, недолго.

Сережа. Им всем пока ничего не надо говорить. Потом скажем.

Дядя Мика (*смеется*). Еще недоставало, говорить! Воображаю, все бы в обморок попадали. Дядя Мика, старый дурак, жениться вздумал...

Сережа (*серьезно*). И нисколько никто не попадает. Рады будут. Они это любят.

Дядя Мика (*хочет идти, возвращается, полушутит*). Финочка, а вдруг я, с течением времени, возьму да сам в вас влюблюсь? Что я тогда буду делать?

Руся (*смеется*). Я скажу, скажу: будешь страдать. И пропадет у нас дядя, потерявший вкус к жизни! Может, лучше, а может – хуже.

Фина. Не надо пока, ничего не надо. Ах, я как во сне. (*Вынимает из муфты револьвер.*) Возьмите это, дядя Мика. Мне стало так покойно. Возьмите совсем.

Дядя Мика. А я куда дену? Ну, хорошо, пусть лежит в

столе. Идите, одевайтесь, Финочка, я пройду прямо в прихожую. *(Направляется к своей двери.)* Да, завертели меня. Обед пропустил, невесть чего наболтал... Это не Кольцо, – Колесо какое-то зеленое! Сами вывернутся – нас завертят. А глядеть все-таки любопытно.

Уходит к себе. Финочка, Сережа и Руся стоят вместе, Финочка посередине, держатся за руки.

Фина. Я как во сне... Как во сне...

Сережа. Сейчас не думай, милая наша. Сейчас верь. Все будет хорошо.

Руся. Она верит. Правда, Фина? Веришь, что поможем тебе? Мы поможем. Сумеем. Это ли, другое ли что найдем, – а сумеем. Так хотим, так любим, что уж нельзя не помочь!

Сережа. Главное – мы вместе. И ты наша.

Фина. Да, вместе... Я верю, верю! У меня сейчас точно три души. Как будет – не знаю, а знаю – хорошо. Люблю всех. Ужасно люблю и верю. Три души во мне, три души!

Сережа и Руся. Милая, милая, все будет хорошо.

Трое целуются, обнявшись.

Зеленое – белое – алое

Вроде послесловия

.....

*Да здравствуют Молодость, Правда и Воля,
Вперед! Нас зовет небывалое.*

(Из стихотворения «Молодое знамя»)

I

Быть может, рассказывая кое-что из театральной истории «Зеленого Кольца», я нарушаю старые литературные обычаи. Принято, чтобы автор хранил мертвое молчание обо всем, что малейшим образом касается его собственного произведения. Разве только после прошествия многих лет, когда это можно отнести к «истории»...

Но мы живем в странное время, сбросившее с себя все прежние мерки. Давнее кажется вчерашним, а, порою, 25 последних месяцев мы чувствуем, как 25 лет. И это не только в важном, но во всех мелочах жизни.

Между прочим, и к истории моей пьесы я отношусь «исторически». Ей двадцать пять месяцев, но так ли это? Не двадцать ли пять лет прошло с 14-го года?

Да и против нарушения иных принятых обычаев я, в конце концов, ничего не имею. Если б никто не нарушал старых, не создавались бы новые.

Вздумай я писать о собственном произведении, как пишу о чужих, то есть как критик – другое дело; это было бы нарушением не обычая, а естественного закона: автор себе не судья, – никогда, ни при каких обстоятельствах. Особенно же, если он критик. В этом случае его суд был бы судом беспощадным без предела, – т. е. опять судом несправедливым.

И, вне всех этих претензий, я просто обращусь к «истории».

«Последняя» молодежь меня занимала давно. Слишком насмотрелись мы на «предпоследнюю». Не было осуждения ей, но была грусть... и страх; и желание понять, в чем дело. Ведь чем яснее понимаешь, тем меньше страха.

А судить недавнюю молодежь... Как ее судить?

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России –
Забывать не в силах ничего.

Испепеляющие годы!

.....

От дней войны, от «дней свободы»
Кровавый отблеск в лицах есть.

.....

И пусть над нашим смертным ложем
Взвывается с криком воронье, –
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое!

(А. Блок)

Не тут ли разгадка? Да, именно у них, «рожденных в глухие года» и переживших, на переломе юности, «дни войны» и «дни свободы» (действительным переживанием), у них –

В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

«Кровавый отблеск в лицах» – не оправдание ли и пустоты, и «немоты», и всего, что было и могло быть с «детьми страшных лет России»... Кто знает? годы эти, быть может, переживались страшнее теперешних...

Иная поросль гибнет... но не гибнет земля, и дает новые побег. Вот эти новые побег, – люди, рожденные не в «глухие», а именно в «страшные» годы, – и должны быть совсем другими. Не в памяти и в сердце, – но в крови у них «страшные» годы. За ними – чужой опыт, глубокий – и не «испепеливший» волю и сердце, а только согревший кровь.

Конечно, они еще не «достойней», но они могут стать достойней, и потому должны сделать свое дело, по завету гибнущих:

...Да узрят Царствие Твое!

Во всем этом, если угодно, очень много теории и лирики; все теории неверны, всякая лирика наджизненна... Но вот что-то зашевелилось и в самой жизни, что-то идущее навстречу и теории, и лирике.

В самом деле, не другой ли, не новый ли «ответ» лежит на лицах? Никак нельзя сказать, чтобы тут в буквальном смысле играли роль года, чтобы люди с «новым ответом» были вот именно такого-то возраста, такого-то «поколения». К жизни с арифметикой не подступишься. Но, конечно, в длинную мою «Хронику Зеленого Кольца» попадало больше юных героев, нежели просто молодых. Так выходило, хотя с самого начала слово «Зеленое» не было мною взято как определяющее непременно «молодость»; шире: как «рост», как силу жизни, как возрождение.

«Хроника», отрывочные записи, служила мне материалом сначала для кое-каких рассказов, потом и для пьесы. Быть может, и дальше еще послужит. Ведь в корне-то лежит вопрос, который нельзя изжить: вопрос о старом и новом, о «Вчера», «Сегодня» и «Завтра».

В январе 14 года моя пьеса была готова. У меня мало театральной опытности, но очень много театральных мечтаний. И сознаюсь, что пьеса написана «театрально-мечтательно». То есть она почти не «написана». Обозначена, дана тем акте-

рам, которых... «нет на свете». (Я, конечно, хочу думать, что еще «нет на свете»). Когда они будут – будут пьесы, во сто раз менее «написанные», чем моя. Дело автора создать образы и положения. Самая же плоть (а слова – тоже плоть) должна твориться совместно. Если я на сцене буду действительно, по-настоящему, тем лицом, которым хочу (понимаю его вместе с автором), то неужели я, данный человек, по-настоящему в таком-то данном положении не найду именно тех слов, которые я должен произнести? Неужели я могу лишь произносить заученные, написанные одним человеком в одиноком кабинете? Пока плоть слова будет создаваться вот так, без участия артистов, без какого-то равенства автора пьесы и ее воплотителей, без какого-то... брака между ними, – до тех пор не будет настоящего «литературного (или „художественного“) театра». И будет, как сейчас: театр – это одно, а литература – совсем другое. Если у нас еще случаются редкие сближения, – то вот Франция шагнула вперед; там уже без исключений: чем театральнее – тем нелитературнее, и обратно.

Забег в будущее нередко вредят настоящему. Поэтому сравнительно малая «написанность» «Зеленого Кольца» (отсюда и краткость текста) – должна была только затруднить исполнителей, артистов. Ведь тех, которых это облегчило бы – «нет на свете!»

Мейерхольд – наш известный приневский «новатор». Но Александрийский театр научил его жизненному, реальному

и трезвому взгляду на данное. Когда ему была прочитана пьеса «Зеленое Кольцо», он отлично понял ее мечтательную «ненаписанность», трудности, отсюда вытекающие, и – не испугался их. Он без всяких колебаний взялся ставить пьесу, даже активно захотел ее ставить, – она ему понравилась. Говорю об этом потому, что хочу покаяться: мы не очень ждали со стороны талантливого нашего режиссера горячего отношения к пьесе такого рода. Нам казалось, что внешняя бедность, простота и «реальный», «бытовой» вид пьесы могут оттолкнуть Мейерхольда, увлекающегося совсем другим родом искусства, любящего нарядность и блеск его одежд. Мы ошиблись; и ниже я отмечу, как исключительно глубоко понял Мейерхольд в «Зеленом Кольце» то, что в нем следовало понять.

Очень скоро дело о постановке было как бы решено. Высшая инстанция отнеслась к пьесе со вниманием и доброжелательством. Рощина-Инсарова, эта худенькая и страстная актриса, увлеклась возможностью превратиться в шестнадцатилетнюю девочку. Мейерхольд уже соображал, как широко можно использовать театральную молодежь. Цензура в два дня пропустила пьесу, без всяких помарок. Все было тихо, мирно и ясно.

Следовало, впрочем, исполнить еще одну... почти формальность, при сложившихся условиях. Следовало пьесе пройти цензуру... литературную.

Она не могла нас заботить, просто потому, что литератор

с такой долголетней опытностью, как я, вряд ли может написать что-нибудь совершенно нелитературное. Но с другой стороны именно мое литературное положение было мне фактически неприятно; мне хотелось, чтобы пьесу рассмотрели, как таковую, вне всякого соединения с моим именем. Ради этого она была направлена – официальным путем – подальше от невских берегов.

Мы уехали за границу и, отвлекшись другими делами, не требовали никаких известий о пьесе.

Известие, что литературную цензуру «пьеса не прошла» – сообщил нам, уже по возвращении нашем, Мейерхольд. Он был изумлен, – больше моего, во всяком случае. Долгая писательская школа приучила меня ко всему. Но... в конце концов пришлось изумиться и мне.

Дававшие отзыв о «Зеленом Кольце» могли, пожалуй, признать эту вещь безграмотной; случается, особенно если наскоро и по обязанности пишешь о неизвестном авторе. Но нет. Не безграмотным было признано «Зеленое Кольцо», а... безнравственным! Тут, действительно, есть чему подивиться.

Как литературное произведение, пьеса была осыпана самыми неумеренными, даже непривычными для меня, похвалами. Самый толстый слой золота положили писатели на горькую пилюлю, которую изготовили они, уже как цензора, как «блюстители нравов»-. Что их заставило, явно неопытных, взяться за эту роль? Загадка. Искренне беспокойство,

тревога и раздражение чувствовались в отзыве, очень обширном. И раздражение не столько против автора («и талантливому, и умному» и т. д.), сколько против юных героев «Кольца». Что, мол, это еще такое? Уж не «Огарки» ли? Не возвращаются ли недавние годы? Вон там они о поле «не хотят» разговаривать, знаем мы, как не хотят! И вовсе это не дети, прелестные невинностью и незнанием, «коих есть Царство Небесное»... они книжки читают! Гегеля читают! Молокососы – Гегеля! «Ну и читали бы книги, написанные людьми их возраста» (Sic!)¹, если вообще недовольны старшими!

Я не преувеличиваю, я, напротив, смазываю, чтобы долго не останавливаться. Этот раздраженный тон, однако, и заставил меня понять, в чем дело. Не литературные критики судили мою пьесу: родители и дедушки, наставники и учителя ополчились на мою молодежь. Это они собрались на воспитательский совет и решили пресечь зло в корне, – запретить «Зеленое Кольцо», распустить «подозрительных» молокососов (разве не подозрительно? Гегеля читают!).

Как же отнеслось ко всему этому «Зеленое Кольцо»? Взбунтовалось? Возмутилось? Захотело оправдываться? Ничуть. Отнеслось и к этим «старым», как к другим, – «с милосердием».

¹ Так! Именно! (лат.).

II

В течение лета у меня была живая переписка с А. А. Стаховичем, намеревавшимся поставить «Зеленое Кольцо» в Студии Художественного театра. Затем она прервалась, как все тогда прервалось: грянула война.

Кто из нас мог думать в то время о театрах, о пьесах, о литературе, о каком-нибудь искусстве? Прибавлю в скобках: может быть, если бы общее это недуманье продолжилось, длилось, – было бы лучше и для самого театра, для самого искусства... Не настаиваю, но может быть...

Как-никак, прошла добрая половина зимы, – и внезапно возникло «Зеленое Кольцо», выплыло у самого неожиданного берега.

Мейерхольд, «представитель нового течения», – послал пьесу Марье Гавриловне Савиной, «представительнице течения старого». Враг – врагу. Разве не так смотрели на Мейерхольда и на Савину? Кто мог представить себе ее, играющую под режиссерством Мейерхольда? Да еще в пьесе автора, с именем которого в старозаветные времена связывалось подозрительное «декаденство»! Однако, это случилось.

Не буду исследовать причины, благодаря которым изменились принятые взгляды, разрушились старые позиции и как бы непримиримое – оказалось примиренным, как бы противоположное – соединенным. Причин много, и соб-

ственно пьесу «Зеленое Кольцо» я считаю лишь одним из случайных поводов к соединению. «Я прежде всего художник, – говорила Марья Гавриловна. – Я считаю художником и Мейерхольда. Как же и почему нам не быть вместе?»

И они взялись вместе – за «Зеленое Кольцо». Это был первый «случай»; конечно, он не остался бы последним... Последним сделала его неожиданная смерть Савиной. Неожиданная – и ранняя; я утверждаю, что в Савиной были громадные запасы неиспользованной художественной молодости.

Не как «старшая», не как строгая мамаша или классная дама отнеслась Савина к молодым членам нового кружка. Над пресловутой «безнравственностью» пьесы она просто посмеялась, – не без ехидства... Роль, которую она взяла в пьесе – была небольшая, всего в одном действии; но Марья Гавриловна захотела ее сыграть, захотела, чтобы пьеса шла.

И пьеса пошла.

Ранее лишь мельком мне приходилось встречаться с Савиной. Тем отчетливее я помню наши свидания последнего года (ее последнего года!) у нее и у меня, иногда с Мейерхольдом, иногда наедине. Она была мне интересна, как самая живая, правдивая, новая книга. Мне вечно хотелось свести ее с разговора о моей пьесе на разговор вообще, хотелось, чтобы она судила, рассказывала, жила, как она есть... Ведь она сама была – чье-то великолепное художественное произведение.

Ко всякой своей работе Савина относилась с тщатель-

ной внимательностью, с громадной требовательностью. Мое авторское хладнокровие и постоянное: «Как хотите, Марья Гавриловна!» несколько сердило ее. Ведь это же моя первая пьеса! Артисты – не писатели, и не знают, что суровая писательская школа основательно излечивает от всяких нервных и самолюбивых волнений.

С Мейерхольдом Савина серьезно поспорила как раз относительно своей роли в «Кольце». Что эта самая особа, дрянь или не дрянь? Меня призвали быть третейским судьей. Мейерхольд, по-моему, был правее. Но мне не хотелось их судить. Пусть Савина создает тот образ, который видит; она создаст его художественно.

И вообще принцип мой был – как можно менее мешать. Полная свобода и доверие... к доброй воле артистов. И опытных, и неопытных... Неопытным поможет Мейерхольд, а ему то уж дана была свобода абсолютная, вплоть до любых изменений текста.

Репетиции шли спешно и неправильно, как всегда в Александрийском театре. Я, впрочем, мало в этом смысле и одинаково удивляюсь: и артистам Художественного Театра, еще не заучившимся после 210-й репетиции, и александрийцам, отлично порой играющим после десятой.

Мне удалось видеть только одну репетицию, и ту без второго акта (Савинского), дней за десять до представления.

Мы поехали в театр часов в 10 вечера, вдвоем с А. А. Блоком (пьесу он, конечно, знал раньше, и она ему была прият-

на).

По дороге вспоминаем «Балаганчик» на сцене Комиссар-жевской, под режиссурой того же Мейерхольда, лет десять тому назад.

– Вы были довольны своей пьесой? – спрашиваю. – Вам доставляло это удовольствие?

– Нет.

Блок говорит мало, но всегда очень определенно.

Тихая репетиция в пустом полутемном театре – приятное зрелище, спокойное. Все не налажено, все не так, – но видишь самую работу налаживанья, видишь умелых людей, и очень любопытно наблюдать.

Впрочем Ю. М. Юрьев, игравший дядю Мику, уже сразу был, «налажен». Он вовсе и не играл, просто себе ходил дядей Микой, – и кончено. Я думаю, редкий автор видел на сцене такое совершенное воплощение задуманного образа, как я – в дяде Мике – Юрьеве. Таким он был и на спектаклях. Не слишком ли молод? – говорили иные. Нет. Будь он старше – это уж был бы не дядя Мика, не настоящий.

Плохо налаживалось самое «Зеленое Кольцо», сцена собрания: «Смотрите как они ничего не понимают, – шептал мне Блок. – Они даже не понимают прямого смысла слов, которые произносят. И оттого – ни статья, ни сесть...»

Мейерхольд видел не хуже Блока. И после этой сцены собрал в фойе молодежь (подлинную молодежь, иные еще только школу кончали). «Вы поймите, – взволнованно убеж-

дал он молодых артистов, – вы поймите, что центр этой сцены – „вместе“. Каждый должен чувствовать себя живой частью одного живого целого. И все время тут же присутствует это „целое“. Двигайтесь, путайте, перебивайте друг Друга, но слушайте не себя, а всех других. Никакая путаница не страшна, если вы будете помнить вот это „вместе“, вот эту живую, все время действующую в вас и среди вас, – общность...»

Я не помню точных слов и всей технической стороны речи Мейерхольда, но суть ее, здесь переданная, была именно такова. И лишний раз убедила меня, что Мейерхольд знает – пусть недостаточно в пьесе выявленный – центр «Зеленого Кольца», его секрет: радость совместности.

Уже на генеральной репетиции, в артистических коридорах, никого нельзя было узнать: казалось, это все настоящие подростки. Смолич точно родился гимназистом «с серьезным будущим». Цыбастой, несложившейся девочкой смотрела Рощина-Инсарова. А про Домашеву подлинные гимназистки, мои приятельницы, подлинные участницы одного из подлинных «Зеленых колец» – спрашивали после спектакля: «Ведь Домашевой не больше же пятнадцати лет? Как же она уж актриса?»

Немного остается прибавить к моим «воспоминаниям». Первое представление состоялось 18-го апреля². Пьеса про-

² В нынешнем сезоне пьеса была возобновлена Главную роль Мейерхольд поручил юной артистке Шигорипой, и она очень в ней выдвинулась. Не менее удачно

шла так же, как прошли и проходят все другие. Так же давала она полные сборы, – со времен войны все пьесы дают полные сборы... Так же и бранили ее, – газеты вечерние, газеты утренние, – как всякую другую. Однако нет: бранили хуже другой. С раздражением, напомнившим мне первый, частный, отзыв старых литераторов. Только насчет «безнравственности» не догадались. В голову, должно быть, не пришло. Уж очень далекими от «безнравственности» вышли «дети» Мейерхольда.

Не критика пьесы (дело обычное), – но именно эта нотка раздражения особенно любопытна. Опять «старые» – начальники, родители, воспитатели и вершители, – рассердились на дерзкую молодежь. Молокососы, читающие Гегеля! Еще лезут «с милосердием»! Не милосердие ваше нужно: послушание.

Да и нет вовсе таких «молодых», успокаивает себя дальше самодовлеющая старость. Все одни выдумки. Все пока обстоит благополучно.

Я не спорю, гораздо покойнее для «старых» вовсе не думать о «новом». Упразднить самый вопрос. Это легко, если пожелать; ведь новое зреет в тишине и тайне, новые в газетах не пишут...

сыграла савинскую роль Можароиа, тоже одна из самых молодых алксандринских актрис Она сумела не дать повода для сравнений сс с царицей Александринки, создав из савинекой роли совершенно иной образ и, по-моему, ближе подходящий к пьесе. Прежние исполнители были по-прежнему великолепны: Домашсва, Смолич и все тот же, подлинный «дядя Мика», – Юрьев.

Ну, а когда новое все-таки скажется? Пусть длинен сегодняшний день, но «завтра» непременно придет, закрывай – не закрывай глаз. Такие ли эти завтрашние люди, как герои «Зеленого Кольца», тот не такие, и все ли они сейчас юны (по возрасту цифровому) – я не знаю. Знаю, однако, что опор для своего строительства они будут искать своих, – прежних не возьмут: «насмотрелись на это ихнее старое устройство!..» И знаю еще, что борьба с «новыми» не минует «старых», как ни уверяй они себя, что «все благополучно», «все на своих местах».

Самая поспешность заверений, замазывание вопроса и злорадия, злорадия, – уже показывают, что полного-то упокоения у «сегодняшних» нет. Рождается тревога. Шатаются устои...

Через головы людей прошлого, боязливо ненавидящих или равнодушно не понимающих, я посылаю привет тем, которые придут завтра. Всем тем, юным годами и сердцем, кто в тишине кует оружие «знания и воли», кто предчувствует радость борьбы и верит в силу «совместности»; всем, и близким ведомым, и далеким неведомым – всем, всем!

А старая ненависть не страшна. У людей будущего есть «милосердие»... оно беспощадно: оно победит.

З. Гиппиус